

ЭДУАРД МОРИКЕ

МОЦАРТ
НА ПУТИ В ПРАГУ



«прибой»

Э Д У А Р Д М О Р И К Е

М О Ц А Р Т
НА ПУТИ В ПРАГУ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦ КОГО ВЛАД. КНЯЖНИНА

«П Р И Б О И»

1928

E D. M Ö R I K E
MOZART AUF DER
REISE NACH PRAG
NOVELLE

Ленинградский Облит № 54453. Тираж 5.000 (12.291/л.)— 9 л. Заказ № 1765.

Госуд. типография им. Евгении Соколовой, пр. Красн. Командиров, 29.

Автор и его новелла

Если вы раскроете старый энциклопедический словарь Брокгауза-Эфрона, чтобы посмотреть о Мёрике, то, к своему удивлению, ничего решительно об этом имени не найдете. Если заглянете в разные справочники и указатели переводной беллетристики, — встретите то же самое. Так в сознании русского читателя лет сорок и больше это имя проходит незаметным. А между тем во всех историях немецкой литературы Мёрике старательно прилаживают к Гёте, то называя „одним из классических представителей лирики“ после Гёте, „почти равным“ последнему, то величая его „Гёте идиллии“, то ставя в высокую заслугу, что лирика его — частью результат влияния народной немецкой песни, частью — влияния Гёте. В области прозы точно так же за ним признают все единогласно „дар выдающегося

повествователя“. Из 232 песен, положенных на музыку гениальным безумцем Гуго Вольфом (1860 — 1903), 53 сочинены на слова Мёрике и только 51 — на слова Гёте. Художник Мориц фон-Швиндт, когда-то друг Франца Шуберта, запечатлевший в своих рисунках некоторые моменты жизни несравненного музыканта, иллюстрировал также и произведения Мёрике (как напр. „Историю о равнодушной красавице“). Словом, перед нами весьма значительное явление немецкой литературы, удивительно каким образом проскользнувшее мимо русских книголюбив и переводчиков, у нас, где так много, даже чересчур много переводят.

*

Род Мёрике — с севера, из Бранденбурга. Но ту ветвь, от которой произошел поэт, мы застаем к моменту его рождения уже в Вюртемберге. Земляк Уланда, Вильгельма Хауффа, Густава Шваба, он родился в той же резиденции этого королевства, где и Юстин Кернер, в г. Людвигсбурге, в семействе почтенного врача, 8 сентября 1804 г. На четырнадцатом году Эдуард-Фридрих лишился отца, и многочисленная семья — в девять человек детей — оказалась в бедствен-

ном положении, в силу чего будущий поэт попал на воспитание к своему дяде в Штуттгарт. Там он получил первоначальное образование и закончил его в знаменитом Тюбингене, поступив не столько по призванию, сколько в силу необходимости, на евангелическо-богословский семинарий, так называемый Stift.

В первый же год своего пребывания в этом городке он испытал и первую свою любовь, потрясшую все его существо, к „таинственной“ чужестранке, воспетой им впоследствии под именем Перегрины. Он стал писать, и эти юношеские стихи его полны, по словам биографов, совершенства.

По окончании учебного заведения Мёрике получил место, и вся остальная жизнь поэта внешне прошла поистине однообразно: с 1826 г. по 1843 г. — на службе в разных пасторатах; с 1843 г. по 1851 г. — в местечке Клеверсульцбах, где поэт проявил трогательную заботливость о могиле матери великого Шиллера и где упокоилась и его родная мать. С 1851 г. по 1866 г. Э. Мёрике служил в высшей женской школе св. Екатерины в Штуттгарте, сначала преподавателем, а потом в звании профессора литературы. После отставки он на некоторое время

поселился в живописном, лесистом, шиллеровском городке Лорхе, и тут его потянуло к физическому труду: на старости лет наш лирик научился выделывать простые цветочные горшки, каковые иногда рассылал друзьям, снабжая посылаемую вещь украшениями или надписью в стихах. Два раза Мёрике был женат и оба раза неудачно. Скончался он в Штуттгарте, утром 4 июня 1875 г.¹

Литературное наследие нашего автора, несмотря на такую продолжительную жизнь, чрезвычайно невелико: всего около 1000 страниц формата изданий Reclama Hesse. Но все это — искусство, все это — подлинное художество. Только пять основных книг*; но те поэтические области, в границах которых протекала творческая работа поэтов так называемой „швабской школы“, — чистая лирика, баллада, романс, идиллия, новелла, — и в которых названные поэты чувствовали себя как дома, словно в чутких лесных долинах старого Вюртемберга, эти области требовали от них свежести и молодости — свойств,

* Maler Nolten 1832; Gedichte 1838; Idylle vom Bodensee 1846; Das stuttgarter Hutzelmännlein 1855; Mozart auf der Reise nach Prag 1856.

находящихся надолго в распоряжении лишь у исключительных натур *. Мёрике принадлежал к числу тех талантов, для которых поэзия всё, которые, как от греха, удаляются прочь от пустой риторики и плоской тенденциозности. Правда, они ни завоеватели, ни пионеры. Но тому, чему они служат, они отдаются с тою самозабвенною преданностью, которая растит и производит на свет новые великолепные цветы. В Мёрике перед нами счастливое соединение нового тогда романтизма и старого уже классицизма. Любовь к фантастическому, к сказке, к таинственным приключениям и т. д. роднит его с Ю. Кернером и романтизмом. Но от романтической растерзанности, от этого *tempo turbato* хранит его восторженное преклонение пред формальною законченностью античности; от романтической иронии защищает его идеально честное отношение к поэтическому созданию, всегда непринужденное и отдающееся.

Баллада не давалась ему с тем совершенством, с каким владел ею хотя бы Уланд. Но в области лирики настроений, в области песни

* Adolf Stern. Zur Literatur der Gegenwart. Lpz., 1880, S. 205.

его стихотворения — вклад в сокровищницу немецкой художественной литературы; они — родные сестры простонародной немецкой Lied („Ein Standlein wohl vor Tag“, „Das verlassene Mägdlein“, „Schöne Rothraut“, „Nimmersatte Liebe“ и т. д.); то же и в области художественно-субъективной лирики (цикл Пeregрины). Чудесны стихотворения, в которых жизнь природы переплетается с личными душевными переживаниями поэта („Die schöne Buch“, „Im Frühling“, „Besuch in Urach“ и т. п.). „Старый башенный петух“ и „Идиллия Боденского озера“ рисуют Мörике как несравненного поэта, равного Гёте, и в этой забытой ныне области — идиллии. Изумительно словесное мастерство стиха Мörике и часто удачное словотворчество. Теодор Фрöберг, автор книги о немецком сонете *, утверждает, что многочисленные сонеты Мörике принадлежат „не только к самым прекрасным вещам из того, что было создано этим великим лириком, но и к самым совершенным в этой области на немецком языке“.

* Theodor Fröberg. Beiträge zur Geschichte und Charakteristik des deutschen Sonetts im XIX Jahrhundert. St.-Ptbg. 1904, S. 145.

В прозе написаны Мёрике несколько очаровательных сказок, „новелла“ о Моцарте и двухтомный роман „Художник Нольтен“, над которым он работал, переделывая, всю жизнь (первое издание в 1832 г., последнее в 1875 г.) и в основе которого несомненно личные переживания, первая любовь, ибо цикл стихов к Перегрине входит в роман составною частью.

Музыка была вторым искусством и верным спутником жизни Мёрике, а Моцарт—особенною любовью поэта и еще со студенческих лет. Мёрике сам когда-то писал рано скончавшемуся поэту и другу Вайблингеру о себе: „Порой во мне начинает звучать волнующая, то грустная, а часто радостная музыка, освобождающая мое глубочайшее внутреннее я. И, погружаясь в нее, я начинаю фантазировать, и тогда в состоянии, полный любви, обнять, целуя, весь мир“. С Моцартом он ощущал какое-то тончайшее сродство в глубине и силе чувства, как равно и в светлой прелести выражения; его „Дон-Жуан“ он считал прекраснейшим созданием музыкально-драматического искусства. Мёрике долго носился с мыслью о том, чтобы написать нечто достойное о великом музыканте. Предстоявшее в 1856 г. празднование столетнего юбилея со дня рождения

маэстро заставило поэта наконец взяться за перо. Новелла была начата в 1852 г. и закончена лишь к весне 1855 г. Напечатанная первоначально в газете, она в конце 1855 г. вышла и отдельным изданием, книжкою в 114 страниц малого in 8^o: „Mozart auf der Reise nach Prag. Novelle von Eduard Mörike. Stuttgart und Augsburg. J. G. Cotta'scher Verlag. 1856“; с посвящением друзьям-композиторам: директору музыки Луи Гетчу в Маннхейме и Фридриху-Эрнсту Кауфману — профессору в Штуттгарте.

Нет, кажется, надобности говорить о том, что Моцарт в новелле Мёрике воссоздан подкупающе правдиво, с тем художественным тактом, который свойственен только при конгениальности натур. Присяжный биограф маэстро „от науки“ — Отто Ян, чья четырехтомная биография о творце „Фигаро“ и до сих пор читается в Германии, переизданная не так давно в переработанном виде, был в свое время (1859 г.) однако недоволен Мёрике, находя, что поэт слишком уж подчеркнул легкомысленность Моцарта и приписал совершенно чуждую его художественной натуре манеру работы над своими произведениями *. Ученый давно опровергнут, и не таким

* Otto Jahn. W. A. Mozart. B. IV, Lpz., 1859, S. 296₃₃.

вошел рассказ Мёрике в историю литературы * и еще ранее в так назыв. „Deutschen Novellenschatz“, изд. П. Гейзе и Г. Курцем.

Действительно, Моцарт показан просто и свободно, и как человек и как блестящий художник, показан с такой сердечной теплотой, что даже хочется верить в рассказанное как в исторический факт и рука невольно тянется к биографиям Моцарта, чтобы найти там хоть что-нибудь об этом замке мифического фон-Шинцберга и его милых обитателях. Исторический колорит соблюден с изумительной точностью, хотя самая вещь ни в коем случае не может быть названа „культурно-исторической“ новеллой, где вся выдумка — только предлог для готового уже материала. Да и новеллой ее можно назвать лишь в прежнем, общеупотребительном смысле этого слова. Никаких любовных приключений, никакого внезапно и внешне надвигающегося конфликта в ней нет. Рассказ ведется автором с восхитительною непосредственностью, и в то же время этот рассказ об одном счастливом дне в жизни Моцарта, когда, казалось, сбываются

* См. хотя бы: K. S t o r c k. Deutsche Literaturgeschichte, Lpz., 1908, S. 351; Ed. E n g e l. Gesch. d. deutsch. Lit., Wien-Lpz., 1913, S. 87; A. S t e r n, op. cit., S. 217—218.

все радужные грезы маэстро, полон символического значения. Радости и страдания великого музыканта, полная и в своем роде единственная человеческая жизнь отражены в движении дня, и даже ранний конец этого существования представляется, благодаря автору, каким-то просветленным. Момент для изображения Моцарта выбран чрезвычайно удачно: он — на самой вершине подъема своих творческих сил, и в то же время закат его жизни уже близок. И элегические ноты, проходящие в новелле, звучат у Мёрике художественно сознательно. С чисто эпической широтой разбрасывается автор в отступлениях и эпизодах, имеющих однако свою цель: помочь читателю возможно интимнее прочувствовать героя. Техника безукоризненна, хотя и патриархальна: автор охотно обращается непосредственно к читателю, не отказываясь от его участия в своей работе. Язык вещи весьма труден для перевода, но он великолепен своим благородством и местами той изысканностью, которая зазвучала в литературе гораздо позднее — лишь у символистов.

Вл. Кн.

Цифрами в тексте обозначены ссылки на примечания, которые составлены переводчиком и находятся в конце книги.

МОЦАРТ
НА ПУТИ В ПРАГУ

Осенью 1787 года Моцарт², в сопровождении жены³, отправился в Прагу, чтобы самолично принять там участие в постановке „Дон-Жуана“⁴.

На третий день пути, четырнадцатого сентября, около одиннадцати утра, супружеская чета в хорошем расположении духа, находясь от Вены всего лишь часах в тридцати расстояния, проезжала в северо-западном направлении, миновав Маннхардсберг и немецкую Тайю у Шремса, где пришлось вскоре перевалить чудесную горную цепь Моравии.

Баронесса фон-Т. писала своей подруге: „Запряженный тремя почтовыми лошадьми возок — желто-красная карета — принадлежал некоей фрау Фолькштетт, старой генеральше, которая, по давнему своему знакомству с семьей Моцартов, оказывая им различные услуги, устроила и это дело“. — Неточность описания знаток

вкусов эпохи восьмидесятых годов мог бы дополнить еще некоторыми подробностями. Дверцы желто-красной кареты расписаны с обеих сторон букетами цветов в их натуральной окраске, а края обведены узкими золотыми ободками, но внешний ее вид не блещет еще зеркально гладким лаком экипажей нынешних венских мастерских, кузов также не вполне закруглен, хоть кокетливо и сужается книзу смело выгнутой дугой; добавим еще — высокий верх, с упругим кожаным фартуком, который в настоящий момент откинут назад.

Об одежде обоих путешественников уместно заметить следующее. Желая сохранить новые парадные платья, уложенные в дорожный сундук, госпожа Моцарт выбрала для супруга скромный костюм: к вышитому жилету слегка полинявшего синего цвета — его обычный коричневый кафтан с рядом больших пуговиц, отделанных с таким расчетом, чтобы красноватый слой позолоты просвечивал сквозь затканную звездочками материю, штаны из черного шелка, чулки и на башмаках вызолоченные пряжки. Уже с полчаса как, из-за необычайной для этого месяца жары, он скинул кафтан и, весело болтая, сидит без шляпы, в одном жи-

лете. Госпожа Моцарт одета в удобное дорожное платье, светло-зеленое, в белую полоску. Целая масса ее наполовину приподнятых светло-каштановых локонов спадает на плечи и на затылок; еще ни разу в ее жизни они не были обезображены пудрой, тогда как густые, собранные в косичку волосы ее супруга сегодня припудрены лишь чуть небрежнее, чем всегда.

Медленно взобралась карета на пологую возвышенность среди плодоносных полей, которые там и сям прерывали обширные лесные пространства, и добралась наконец до опушки леса.

— Сколько лесов, — сказал Моцарт, — осталось уже позади за эти три дня! Я ничего при этом не думал, не говоря уже о том, чтобы ступить туда ногой. Выйдем-ка, сердце мое, и нарвем вон тех колокольчиков, что так уютно синеют там в тени. А твои кони, любезный друг, пускай немножко отдохнут.

Когда оба поднялись с места, то обнаружилось маленькое несчастье, навлекшее на маэстро выговор. По его небрежности флакон с драгоценными духами раскупорился, и его содержимое незаметно пролилось на платья и подушки сиденья.

— Я могла бы догадаться, — жаловалась она, — ведь давно уж так сильно пахнет. Какая досада, целый флакон настоящих Rosée d'Augoge весь вытек. А я - то их берегла, что золото!

— Дурочка, — возразил он ей в утешение, — пойми же: только так и могло получиться нечто полезное для нас из твоего нюхательного спирта для богов. Мы сидели точно в печке, и твое обмахивание не помогало нисколько, как вдруг вся карета словно освежилась; ты приписала это тем двум - трем каплям, которые я вылил на свое жабо; мы ожили, и разговор весело продолжался, а без того мы бы просто повесили головы вроде баранов на телеге мясника. И это благодеяние будет продолжаться всю дорогу. А теперь давай-ка засунем как следует наши венские носы в эту зеленую чашу!

И, рука об руку перешагнув придорожный ров, они быстро углубились в сумрак елей, который сгустился вскоре почти до полной тьмы, только местами резко прорываясь солнечным лучом на бархатистой поверхности мхов. Упоительная свежесть, внезапно сменив царящий снаружи зной, могла бы оказаться опасной для этого беззаботного человека, если бы не предусмотрительность спутницы. С трудом навя-

зала она ему верхнюю одежду, которую держала наготове.

— Господи, какое великолепие! — воскликнул он, взглянув на вершины высоких стволов. — Как в церкви! Мне все кажется, что никогда я не был в лесу, и только сейчас почувствовал, что это такое: целый народ деревьев друг подле друга. Никто не сажал их, все выросли сами и стоят так лишь потому, что весело жить и хозяйничать вместе. Подумай только: в молодости я изъездил вдоль и поперек пол-Европы, видел Альпы и море, самое великое и прекрасное из того, что создано в мире; и вот очутился чудак в самой обыкновенной еловой роще на чешской границе и удивлен и восхищен, что существует нечто подобное не только в виде *una fizione di poeti*⁵, как их нимфы, фавны и прочее, что это и не театральный лес, нет, а выросший из недр земных, вспоенный влагой и солнечным теплом. Здесь у себя дома и олень со своей удивительной ветвистой порослью на лбу, и забавница - белка, и глухарь, и тетерев.

Он наклонился, достал гриб и начал восторгаться ярко-красным цветом его шапочки, беловато-нежными полосками ее внутренней

стороны, а затем набил карманы еловыми шишками.

— Можно подумать, — сказала жена, — что ты не сделал и двадцати шагов по Пратеру ⁶: таких раритетов не мало и там.

— Что Пратер! Sapperlot ⁷, как только могло у тебя вырваться это слово! За громом карет, парадными шпагами, робронами и веерами, музыкой, за всем этим гвалтом житейского спектакля, что там увидишь?! Самые деревья там — такие важные, я не знаю — буковые шишечки, жолуди, рассыпанные по земле, выглядят буквально двоюродными братцами бесчисленного множества брошенных там пробок. Часа за два ходьбы уже несет от роши кельнером и соусами.

— Вот неслыханное дело, — воскликнула она, — и это говорит тот самый человек, для которого нет больше удовольствия, чем скушать в Пратере жареного цыпленка!

Когда оба вновь уселись в карету и дорога, после небольшого участка ровного пути, начала мало-по-малу клониться вниз, туда, где очаровательная местность терялась в очертаниях далеких гор, наш маэстро, помолчав, начал снова:

— Земля воистину прекрасна, и никого не упрекнешь за то, что хочется возможно дольше пожить на ней. Слава богу, я чувствую себя гораздо лучше, чем когда-либо, и потому готов приняться за тысячу вещей, которым и настанет свой черед, как только мое новое произведение будет закончено и поставлено на сцене. Сколько всюду примечательного и прекрасного, чего я вовсе не знаю: чудес природы, наук, искусств, полезных ремесл! Вон черномазый мальчишка-угольщик возле костра: он знает не больше меня о многих различных вещах, хотя и во мне живет потребность окинуть взором то и се, что не относится ближайшим образом к моей профессии.

— Мне попался, — ответила она, — на этих днях в руки твой старый карманный календарь восемьдесят пятого года; там на обороте ты поставил три или четыре нотабене. Первое: в середине октября отливают большого льва в императорской литейной; во-вторых, дважды подчеркнуто: навестить профессора Гаттнера. Кто это такой?

— Ах, как же, знаю: это добрейший старичок из обсерватории, который время от времени все приглашает к нему зайти. Я давно уже

собираюсь поглядеть вместе с тобой на луну и человечка на ней. У них теперь поставлена наверху громаднейшая подзорная труба: и вот, на огромном диске можно будто бы отчетливо видеть горные хребты, долины, ущелья, а со стороны, не освещенной солнцем; тени, отбрасываемые вершинами гор. Года два надумываю я к нему прогуляться, и — стыд и срам! — все еще не собрался.

— Ну, — сказала она, — луна от нас не уйдет. Наверстаем.

После минуты молчания он заговорил снова:

— А разве не то же самое происходит со всем решительно? Тьфу! не хочется даже думать о том, сколько всего упускаешь, откладываешь, бросаешь: не говоря уже об обязанностях перед богом и людьми, — возьмем одни лишь чистые наслаждения, маленькие невинные радости, за которыми каждому ежедневно стоит только нагнуться.

Госпожа Моцарт не могла или не желала никоим образом изменять того направления, по которому все более и более устремлялось в данном случае его легко бежавшее чувство, и, к сожалению, могла лишь от всей души согла-

ситься с ним, когда он продолжал с все возрастающим воодушевлением:

— Разве мне случалось хоть час порадоваться на наших детей? Как все это случайно у меня и всегда *en passant*⁸! Посажу разок ребятишек верхом на колени, погоняю с ними минуты две по комнате, и баста, опять стряхну их. Не припомню, чтобы мы когда-нибудь выбрались в хороший денек за город, на Пасху или на Троицу, в какой-нибудь сад или рощицу, на лужайки, совершенно одни, и за детскими забавами и собиранием цветов снова хоть раз чтоб самому превратиться в ребенка. А между тем — господи боже! — проходит, пробегает, проносится жизнь. Подумать — холодный пот выступает от ужаса.

Вслед за высказанным только что самообвинением между ними неожиданно начался серьезный разговор, исполненный глубокой сердечности. Мы не станем приводить его во всех подробностях, а вместо того бросим общий взгляд на те отношения, часть которых явилась важнейшим и непосредственным материалом беседы, а другая составляла как бы ее основной тон.

Прежде всего здесь напрашивается прискорбный вывод, что этот пламенный человек,

невероятно восприимчивый ко всем очарованиям мира и ко всему высшему, что может постигнуть творческий дух, сколько он ни пережил за краткий срок своей жизни, скольким ни наслаждался и сколького ни создал, — он все же был лишен всю свою жизнь прочного и ясного чувства самоудовлетворения.

Тот, кто не станет отыскивать причин этого явления где-нибудь поглубже, чем они, вероятно, находятся, тот усмотрит их первым делом в непреодолимо, казалось бы, въевшемся слабости, что мы столь охотно, хотя и не совсем безосновательно, связываем со всеми теми чертами, которые составляют предмет нашего удивления в Моцарте.

Потребности его были чрезвычайно разнообразны; его склонность к радостям житейским, в частности, была исключительно велика. Самые знатные семьи в городе ценили его несравненный талант и заискивали в нем; он же редко или почти никогда не отказывался от приглашений на празднества, в различные кружки и собрания. Притом же и собственное его гостеприимство, разумеется — в пределах более тесного круга, было тоже достаточно широким. Уже давно устраивались по воскресеньям музыкальные

вечера у него в доме; обед из вкусных блюд, непринужденное застолье, с одним - двумя приятелями и знакомыми, два-три раза в неделю — в этом он не мог отказать себе. Иногда, к ужасу жены, он приводил в дом гостей без всякого предупреждения, прямо с улицы, притом людей чрезвычайно неодинакового достоинства: любителей, товарищей по искусству, певцов и поэтов. Праздный паразит, вся заслуга которого сводилась к неизменно веселому настроению, к шуткам и остротам, хотя бы и грубоватого свойства, встречал не менее радушный прием, нежели утонченный знаток или отличный исполнитель. Большую часть своего свободного времени Моцарт любил проводить вне дома. После обеда почти каждый день можно было найти его в кофейной за бильярдом, иногда и вечером — в трактире. Очень охотно участвовал он с компанией в загородных прогулках пешком или верхом, посещал в качестве завязанного танцора балы и вечера с танцами и по несколько раз в году с большим удовольствием веселился на народных гуляньях, особенно в день св. Бригитты, где появлялся в костюме Пьерро. Эти удовольствия, то пестрые и разгульные, то отвечающие более спокойному настроению,

являлись необходимым роздыхом деятельно напряженному духу, после колоссальной затраты сил; к тому же на тех таинственных путях, в которых бессознательно протекает игра гения, непрестанно сообщались ему те утонченные, мимолетные впечатления, благодаря коим обогащается при случае этот гений. Но, к несчастью, в такие часы, желая исчерпать счастливое мгновение до дна, он отстранялся безоглядно от всех велений ума и долга, самосохранения и забот о семье. Ни в творчестве ни в наслаждениях Моцарт равно не хотел знать меры и предела. Часть ночи постоянно была посвящена сочинению. Ранним утром, нередко лежа долгое время в постели, он обрабатывал написанное. Затем часов в десять вставал и пешком или в присланной за ним карете начинал свои уроки, и этот обход отнимал у него еще несколько часов послеобеденного времени. „Мы подвигаемся на совесть, — писал он как-то одному из своих покровителей, — и всего труднее бывает не потерять терпения. Наберешь в качестве присяжного чембалиста⁹ и учителя музыки с дюжину учеников, да еще новых, не ведая совершенно, что из них выйдет, лишь бы платили свой талер рег тагса¹⁰. Всякому вен-

герскому усачу из инженерных войск, которого чорт дернул заняться ни с того ни с сего изучением генерал-баса или контрапункта, мы говорим: добро пожаловать! Всякой заносчивой молоденькой графине, которая встречает меня словно метра Кокреля, своего парикмахера, красная от злости, если постучался к ней с опозданием“ и т. д. И вот, когда, утомленный своей профессиональной работой, заседаниями Академии, репетициями, он жаждал свободно вздохнуть, его напряженные нервы часто обретали лишь в новом возбуждении сомнительное подкрепление. Его здоровье было втайне подорвано, и то и дело возвращавшиеся приступы меланхолии, если не вызывались, то во всяком случае поддерживались этим обстоятельством, а предчувствие преждевременной смерти, не покидавшее его в последнее время, приближалось неотвратно. Становилось чем-то обычным, что к каждой его радости присоединялись в качестве острой приправы разного рода и цвета огорчения, не исключая и чувства раскаяния. Но мы знаем, что и эти страдания сливались, просветленные и чистые, в единый глубокий поток, который, низвергаясь сотнями золотых труб, неисчерпаемый в смене своих

мелодий, изливал всю муку и все блаженство человеческого сердца.

Наиболее очевидным образом дурные последствия такого поведения отзывались на домашнем обиходе. Упрек в безумной, легкомысленной расточительности был весьма близок к истине; это обстоятельство сказывалось у него даже при самых прекрасных движениях сердца. Приходил ли кто-нибудь попросить в долг в виду крайней нужды или с просьбой о поручительстве, такой человек мог быть заранее по большей части уверен, что от него не потребуют ни залога ни какого-либо обеспечения; последнее было столь же мало вероятным, как у ребенка. Охотнее же всего он просто дарил, и всегда с приветливым великодушием, особенно когда предполагал, что есть излишек.

Средства, необходимые для подобных расходов и вместе с тем для насущных потребностей семьи, не находились в силу этого ни в каком соответствии с поступлениями. Того, что получалось от театров и концертов, с издателями и от учеников, включая сюда даже императорскую пенсию, не хватало, тем более, что вкусы публики были еще очень далеки от того, чтобы решительно высказаться за музыку Моцарта.

Ее чистейшая прозрачность, изобилие глубины и красоты были чужды большинству, особенно в сравнении с излюбленной дотоле, легко воспринимавшейся пищей. Хотя венцы в свое время едва могли насытиться „Бельмонтом и Констанцией“¹¹ благодаря народным элементам этой вещи, тем не менее через несколько лет „Фигаро“¹², — и не вследствие только интриг директора, — вступив в соревнование с милой, но значительно ему уступающей „Cosa гага“¹³, претерпел неожиданный, достойный всякого сожаления провал; тот „Фигаро“, которого в то же самое время образованная и непредубежденная публика Праги встретила с таким энтузиазмом, что благодарно тронутый маэстро решил первую же свою новую оперу написать единственно для нее. Невзирая на неблагоприятные времена и на происки врагов, Моцарт все же мог бы, при несколько большей осмотрительности и уменьи, извлекать из своего искусства весьма значительную прибыль; но он терял даже и на тех предприятиях, где и непосвященные встречали его восторженным признанием. Короче говоря, соединилось все, судьба и природа и собственная вина, чтобы помешать удаче этого исключительного человека.

Но в каком несносном положении при таких обстоятельствах оказывалась хозяйка дома, поскольку она представляла себе свою задачу, мы можем легко понять. Невзирая на свою молодость и жизнерадостность, сама дочь музыканта, у которой стремление к искусству было заложено в крови, привыкнув впрочем к лишениям уже в родной семье, Констанция делала все, что только зависело от ее доброй воли, чтобы не дать развернуться несчастью, сглаживала всякие шероховатости и старалась возместить потери в крупном бережливостью в малом. Только в последнем отношении ей нехватало, быть может, настоящего умения и готового опыта. Она выдавала деньги и вела запись расходов, и каждое требование, каждое напоминание о долге, все, словом, огорчения выпадали на долю исключительно ей. Было иной раз от чего впасть в отчаяние, особенно же в те моменты, когда зачастую к этим нехваткам, к этой крайности, мучительным колебаниям и боязни открытого позора присоединялась еще меланхолия супруга, и он, недоступный никаким утешениям, целыми днями томился, забрасывая всякую работу, то преследуя жену вздохами и жалобами, то забираясь молчаливо

в угол с печальной мыслью единственно о смерти, которая бесконечно терзала его. И все же ее славное мужество покидало ее редко, ее светлый взор находил большей частью, пусть на некоторое лишь время, тот или иной выход.

Но, в сущности, она мало или вовсе ничего не могла изменить к лучшему. Если ей удавалось укором или шуткой, просьбами или лаской сегодня добиться от него, чтобы он хоть напился с ней чаю или поужинал дома, в семье, то что́ этим достигалось? Он мог, правда, внезапно пораженный и растроганный заплаканными глазами жены, чистосердечно проклясть свои дурные привычки, обещать все наилучшее, даже больше, чем она требовала, — напрасно: неприметным образом он снова принимался за старое. Оставалось только верить, что не в его власти было поступать иначе и что, если бы удалось как-нибудь путем насилия заставить его совершенно изменить образ жизни и жить тихо и скромно, как подобает обычно всем людям, это чудесное существо утратило бы всю свою своеобразную прелесть.

Все же Констанция неизменно надеялась на перемену в благоприятном смысле, поскольку

последняя могла придти извне — благодаря коренному улучшению их материального положения, каковое не могло не измениться при все возраставшей известности ее мужа. Лишь только, думалось ей, будет устранено непрерывное давление с этой стороны, которое и ему приходилось ощущать более или менее непосредственно, лишь только окажется возможным отдаться всецело своему истинному предназначению вместо того, чтобы половину своих сил и времени приносить в жертву ради добывания денег, лишь только наконец удовольствия, за которыми больше не придется гоняться, которым он сможет отдаться с неизмеримо более спокойной совестью, станут приносить удовлетворение его душе и телу, — тогда и общее его состояние будет легче, естественнее, спокойнее. Она подумывала даже и о том, чтобы переменить при случае место их жительства, так как надеялась преодолеть его безусловное тяготение к Вене, городу, где, по ее мнению, не было ему настоящей удачи.

Но ближайшего, решающего толчка в смысле осуществления своих замыслов и пожеланий госпожа Моцарт ожидала от успеха новой оперы, ради чего и была предпринята эта поездка.

Свою работу композитор продвинул более чем наполовину. Ближайшие друзья, понимавшие толк в музыке и имевшие, в качестве очевидцев того, как создавалась эта исключительная вещь, вполне достаточное представление об ее характере и силе воздействия, высказывались всюду о ней в таких выражениях, что даже многим из противников стало казаться, что не пройдет и полгода, как этот „Дон-Жуан“ потрясет, поставит на голову, приступом завоюет из конца в конец весь музыкальный мир Германии. Осторожнее и условнее были голоса тех, кто, исходя из современного им состояния музыкального искусства, не надеялись на столь быстрый и всеобщий успех. Маэстро в глубине души разделял вполне их в достаточной мере обоснованные сомнения.

Констанция же, как все женщины, когда их чувство уже определилось и всецело отвечало весьма справедливым желанием, а также и по их свойству реже, нежели мужчины, поддаваться позднейшим сомнениям, откуда бы таковые ни исходили, твердо держалась своей веры в удачу, веры, которую ей снова приходилось защищать даже здесь, в карете. И она проделывала это

так весело и непринужденно и с тем бóльшим оживлением, что настроение Моцарта уже приметно понизилось во время предыдущего разговора, который в дальнейшем ни к чему не мог привести и потому-то оборвался, оставив чувство неудовлетворенности, крайне неудовлетворенным образом. Она обстоятельно и с неизменной веселостью объяснила своему супругу, как намерена она использовать по возвращении домой ту тысячу дукатов, которая была обещана пражским антрепренером в качестве уплаты за партитуру для покрытия настоятельнейших потребностей, и как вообще, соображаясь со своей сметой, надеется она отлично продержаться всю будущую зиму вплоть до весны.

— Уж пострижет своих овец благодаря опере твой синьор Бондини ¹⁴, поверь! И если он тот честный человек, хотя бы и наполовину, каким ты всегда его рисуешь, то должен же уделить тебе задним числом еще и приличный процентик из тех сумм, которые получит с ряда других театров за снятие копий с партитуры. Так или не так, но у нас, слава богу, есть впрочем и другие возможности в тысячу раз солиднее. На этот счет у меня всякие предчувствия...

— Ну, говори!

— Я слышала недавно, как распевала птичка, что королю прусскому нужен капельмейстер.

— Ого!

— Главный директор музыки, хотела я сказать. Дай мне немножко пофантазировать. Эта слабость у меня от матери.

— Валяй во-всю. Чем нелепее, тем лучше.

— Нет, все совершенно просто и натурально. Прежде всего имей в виду, что через год в это же самое время...

— Когда папа римский посватается за Грету...

— Молчи, Гансвурст¹⁵! Так я говорю: через год, ко дню святого Эгидия, чтобы в Вене ни слуху ни духу не оставалось о некоем придворном императорском композиторе, по прозвищу Вольф Моцарт.

— Лиса тебя заешы!

— Мне уже представляется, как наши друзья болтают про нас обо всем, что только придет в голову.

— К примеру?

— Например рано утром, часу в десятом, уже несется самым скорым, самым бурным изо

всех своих визитных аллюров наша старая мечтательница Фолькштетт наискосок через Кольмаркт. Целых три месяца пропадала она из Вены: продолжительная поездка к шурину в Саксонию, о чем столько говорилось каждодневно с самого начала нашего знакомства, наконец состоялась; только вчера к ночи она воротилась, и вот с переполненным сердцем, — которое так и бьется и от счастья, что удалось-таки съездить, и от дружественного нетерпения, и от самых удивительных новостей, — несется прямо к полковнице, вверх по лестнице, постучалась и влетает, не дождавшись даже „войдите“. Представляешь ликование и взаимные объятия! — „Ну, милейшая, добрейшая фрау полковница, — начинает она, немного отдышавшись, после первых приветствий, — я привезла вам кучу поклонов, отгадайте от кого? Я ведь не совсем прямо из Стендаля, я немножечко взяла в сторону, влево, по направлению к Бранденбургу“. — „Как? не может быть! Вы были в Берлине? у Моцартов?“ — „Десять блаженнейших дней“. — „О, милая, сладкая, единственная моя генеральша, расскажите же, опишите все! Как поживают наши милейшие дружки? Все ли им еще там нравится, как вначале? Пора-

зительно, непонятно и посейчас, а теперь, после того как вы побывали у него, тем больше: Моцарт — берлинец! Как же они держатся там? Как они выглядят?“ — „О, посмотрели бы вы на него. Нынче летом король отправил его в Карлсбад. Когда что-либо подобное пришло бы в голову нашему возлюбленному монарху Иосифу, а?! Моцарты только что успели вернуться, когда я приехала. От него так и пышет здоровьем и жизнью, пополнил, стал кругленьким, и подвижен как ртуть; глаза его сияют счастьем и довольством“.

И вот, рассказчица принялась, продолжая игру, расписывать новое положение самыми светлыми красками — от его жилья на улице „Под Липами“, от его сада и загородной дачи вплоть до блистательной арены его публичных выступлений и более тесного придворного круга, где он аккомпанирует на фортепьяно королеве, — и все это в описании начинало походить на подлинную действительность. Всякого рода разговоры, интереснейшие анекдоты так и сыпались, словно из рога изобилия. Можно было подумать, что ей гораздо более знакома резиденция Потсдама и Сан-Суси, нежели Шёнбрунн и императорский замок. К тому же у ней

нашлось достаточно лукавства, чтобы наделить нашего героя множеством совершенно новых семейных добродетелей, развившихся на почве сурового прусского быта, среди коих упомянутая Фолькштетт обнаружила будто бы, в качестве величайшего чуда природы, в доказательство того, что крайности иногда сходятся, зачатки порядочной скупости, которые-де ему чрезвычайно к лицу. „Да, три тысячи талеров ему обеспечены и, примите во внимание, только за что? За то, что раз в неделю он продирижирует концертом и два раза в большой опере. Ах, дорогая, я видела его, нашего милого, драгоценного, маленького Моцарта, во главе его отличного оркестра, который он сам вымуштровал и который его боготворит. Я сидела с мадам Моцарт в ее ложе, наискосок от ложи высоких особ. И что же стояло в программе, спрошу я вас? Я захватила ее с собою, завернув в нее маленький дорожный подарок для вас от меня и Моцартов, — да вы взгляните, да вы прочтите! То, что напечатано аршинными буквами.“ — „Господи спаси! что это? «Тарар»¹⁶¹“ — „Да, мой друг, подобное стоит пережить. Два года тому назад, когда Моцарт писал своего «Дон-Жуана» и этот проклятый, ядовитый, черно-

желтый Сальери¹⁷ уже собирался втихомолку добиться у нас, в Австрии, такого же триумфа для своей пьесы, какого добился в Париже, чтобы показать нашей невзыскательной, предпочитающей кулика фазану, во всякое время готовой насладиться «Cosa гага» публике; какого сорта он сокол, и когда он и его клеветы уже шептались и интриговали, как бы поставить «Дон-Жуана» в столь же оципанном виде, т. е. ни живым ни мертвым, как это удалось уже однажды с «Фигаро», — я, знаете ли, тогда же дала обет, что, ежели все-таки поставят его подлую пьесу, я ее слушать не пойду ни за что на свете! И сдержала слово. Когда все, словно угорелые, кинулись в театр, — а с ними и вы также, моя дорогая, — я осталась у своей печки, взяла на колени кошку и занялась ужином; и в следующие несколько раз поступала так же. Но теперь, вообразите, «Тарар» на сцене берлинской оперы, и Моцарт, дирижирующий произведением своего смертельного врага! — «Тут-то уж вы должны пойти, — воскликнул он в один из первых же моментов нашей встречи, — хотя бы для того только, чтобы заявить венцам, дал ли я пасть хоть одному волоску с головы отрока

Авессалом! Мне хотелось бы, чтобы они сами присутствовали здесь. Этот трижды завистник увидел бы, что мне нэзачем портить чудную вещь для того, чтобы оставаться тем, кем я для всех был!»

— Brava! Bravissima! — во всю мочь вскричал Моцарт и, схватив свою женку з уши, начал ее целовать, ласкать, щекотать так что эта игра с радужными мыльными пузырями грез о будущем, которым, к сожалению, никогда, даже в самых скромных размерах, не суждено было осуществиться, завершилась задорным весельем, гамом и хохотом.

Тем временем они давно уже спустились в лощину и приблизились к деревне, которую заметили еще сверху, и за нею, в непосредственной близости, в уютной внизу долине, небольшой зámок в модном стиле — резиденцию некоего графа фон-Шиңцберга. В местечке предполагалось покормить лошадей, передохнуть и пообедать. Постоялый двор, где они остановились, расположен был в конце деревни, близ дороги, от которой аллея тополей, шагов в шестьсот длиною, вела в сторону господского парка.

Когда они выбрались из кареты, Моцарт, по обыкновению, предоставил жене заказывать обед. А пока что приказал подать себе стакан вина в нижнюю комнату. Она потребовала лишь, чтобы ей дали глоток свежей воды и отвели спокойный угол, где можно было бы часок вздремнуть. Ее провели во второй этаж, супруг последовал за ней, оживленно напевая и насвистывая. В чисто выбеленной и наскоро проветренной горнице находилась, — среди другой престарелой мебели благородного происхождения, перекочевавшей в свое время сюда, без всякого сомнения, из графского особняка, — опрятная, легкая кровать с роскошным балдахином на тонких, крытых зеленого цвета лаком колонках, на которых прежняя занавесь была заменена более простой материей. Констанция устроилась поудобнее, он обещал своевременно разбудить ее, она заперла за ним дверь, и ему ничего не оставалось больше, как отправиться искать собеседников в общей комнате харчевни. Но в ней не было ни души кроме хозяина, и, так как беседа с последним оказалась не более привлекательной, чем его вино, то Моцарт весело принял решение, пока будут накрывать на стол, совершить прогулку

в замковый сад. Доступ туда, как он слышал был вполне свободный для приличных посетителей, тем более, что хозяева замка находились в отъезде.

Он вышел, быстро проделал недолгий путь до открытой решетки ворот и медленно зашагал по старинной аллее из высоких лип, в конце которой, с левой стороны, перед ним оказался невдалеке фасад замка. Замок был построен в итальянском стиле, с далеко выступающей вперед двойной лестницей, и выкрашен в светлый цвет; шиферную крышу его украшали несколько статуй по общепринятой манере, а также балюстрада.

От середины двух больших, находившихся еще в полном цвету газонов наш маэстро свернул в заросли кустарников, миновал две-три прекрасных группы темных пиний и направил свои стопы по прихотливо извивающимся тропинкам, постепенно приближаясь вновь к более открытым частям парка, откуда доносился оживленный рокот фонтана, которого он тотчас же и достиг.

Вокруг значительных размеров овального бассейна была расположена содержимая в полном порядке оранжерея, где чередовались

в кадках лавры и олеандры; рядом с нею вилась мягкая, усыпанная песком дорожка, на которую выходила узкая плетеная беседка. Беседка эта могла служить местом приятнейшего отдохновения: маленький столик стоял перед скамьей, и Моцарт присел у самого входа.

Прислушиваясь к ласкающим всплескам фонтана, устремив взор на померанцевое дерево средней величины, стоявшее вне ряда, отдельно, в непосредственной близости от него, покрытое прекрасными плодами, наш герой был наведен этим видением юга на одно чарующее воспоминание отроческих лет. Задумчиво улыбаясь, он потянулся за ближайшим из висевших плодов, как бы для того, чтобы ощутить на ладони его яркую оболочку, его сочную свежесть. Но в ближайшей связи с теми образами юных лет, что вновь всплыли перед ним, находилось одно музыкальное воспоминание, за неопределенным отблеском которого он, замечтавшись, мгновение следовал. И вдруг взоры его заблестали, вздымаясь и опускаясь; он был охвачен какой-то мыслью, которую усердно старался уловить. В рассеянности он вторично взялся за апельсин: тот оторвался от ветки и очутился у него в руке. Он видит и не видит

этого; он настолько поглощен художественным переживанием, что, непрерывно вертя около носа благоуханный плод и в то же время неслышно воспроизводя движением губ то начало, то середину мелодии, в конце концов инстинктивно извлекает из своего бокового кармана эмалированный футляр, вынимает ножичек с серебряною рукоятью и медленно разрезает сверху донизу желтую, шарообразную массу. Быть может, им невятно руководило здесь бессознательное ощущение жажды, но возбужденные чувства удовлетворились вдыханием восхитительного аромата. В течение нескольких минут вперяет он пристально взор в обе внутренние половинки плода, тихонько складывает их вновь, и опять, опять тихо-тихо раскрывает и соединяет их.

Тут он слышит близкие шаги, теряется, и сознание того, где он и что натворил, внезапно возникает перед ним. Сделав движение, чтобы спрятать апельсин, он мгновенно останавливается, отчасти из гордости, отчасти же потому, что было уже поздно. Высокий широкоплечий мужчина в ливрее, садовник замка, стоял перед ним. Он, всего вероятнее, успел как раз увидеть последнее подозрительное дви-

жение и, пораженный, молчал несколько секунд.

Моцарт также безмолвствовал: точно пригвожденный к своему сиденью, смотрел ему в лицо своими синими глазами, наполовину смеясь, явно краснея, но все же до некоторой степени смело и величественно; затем он положил, — для третьего лица все это показалось бы в высшей степени комичным, — на середину стола нетронутый по внешнему своему виду апельсин со своего рода вызывающим и решительным апломбом.

— Прошу прощения, — начал теперь садовник, предварительно оглядев не очень-то многообещающий костюм незнакомца, со сдерживаемым раздражением:—не знаю, с кем я здесь...

— Капельмейстер Моцарт из Вены.

— Без сомнения, вас знают в замке?

— Я здесь чужой и нахожусь проездом. Господин граф у себя?

— Нет.

— Его супруга?

— Занята и вряд ли принимает.

Моцарт поднялся и направился к выходу.

— С вашего позволения, сударь! Кто вам разрешил здесь угощаться?

— Что? — вскричал Моцарт: — угощаться! Чорт возьми, не думаешь ли ты, что я хотел украсть и сожрать эту вещь?

— Сударь мой, я думаю то, что вижу. Плоды сосчитаны, и я за них в ответе. Дерево предназначено господином графом для празднества, его сейчас должны были унести. Я не могу отпустить вас, пока не доложу об этом деле и вы сами не удостоверите, как это произошло.

— Будь по-твоему. Я пока что пережду здесь.

Садовник, колеблясь, оглянулся вокруг, и Моцарт, полагая, что он, быть может, рассчитывал только на подачку, схватился было за карман; но в нем было совершенно пусто.

Тут действительно появились двое подручных садовника, поставили деревцо на носилки и унесли его. Между тем наш маэстро вытащил свой бумажник, взял чистый листок и, в присутствии не отходившего ни на шаг садовника, принялся писать карандашом:

„Милостивейшая государыня, я сижу здесь, несчастный, в вашем раю, подобно покойному Адаму, после того как он вку-

сил от запрещенного плода. Несчастье совершилось, и я не могу даже свалить вины на добрейшую Еву, ибо она, окруженная амурами и грациями балдахина, покоится теперь невиннейшим сном в гостинице. Прикажете, и я лично отвечу вашему сиятельству за свое, для меня самого необъяснимое преступление. Искренно смущенный

вашего сиятельства
покорнейший слуга
В. А. Моцарт,
на пути в Прагу“.

После этого он передал довольно нескладно сложенную записку назойливо дожидаящему слуге с необходимыми объяснениями.

Не успел этот злой дух удалиться, как по ту сторону замка послышался на дворе шум подъезжавшего экипажа. То был граф, привезший из соседского имения племянницу и ее жениха, молодого богатого барона. Так как мать последнего уже несколько лет никуда не выезжала, то обручение состоялось сегодня у нее; теперь же это торжество должно было быть отмечено веселым заключительным праздником в

кругу близких родных, здесь, где Евгения с детства обрела, точно родная дочь, свою вторую семью. Графиня с сыном, поручиком Максом, отправилась домой несколько раньше, дабы отдать различные распоряжения. Оттого-то и было все в замке полно движения, все лестницы и коридоры, и лишь с трудом удалось садовнику вручить записку графине, которая однако не вскрыла ее тут же на месте, а озабоченно проследовала дальше, не вслушиваясь достаточно внимательно в слова доклада слуги. Он ждал и ждал, а она не возвращалась. То тот, то другой из прислуги мчались мимо него, дворецкий, горничная, камердинер; он спросил барона, тот одевался; он отправился на поиски и нашел графа Макса в его комнате, но тот был поглощен беседой с бароном и, точно опасаясь, что он доложит или спросит о чем-нибудь таком, чего не следует говорить во всеуслышание, оборвал его, сказав: „Иду, иду — ступайте!“ Он постоял еще довольно долго, пока наконец сын с отцом не появились сразу и не узнали роковой вести.

— Это чорт знает, что такое! — воскликнул тучный, добродушный, но несколько вспыльчивый граф. — Это переходит все границы! Му-

зыканти из Вены, говорите вы? Вероятно, какой-нибудь из тех проходимцев, которые гонятся за подачкой на дорогу и тащат, что плохо лежит.

— Прошу прощения, ваше сиятельство, не такой у него все-таки вид. Мне сдается, что у него не все дома, к тому же он больно гордый. Назвался он: Мозер. Он внизу дожидается решения; я велел Францу остаться поблизости и присмотреть за ним.

— Что пользы от этого теперь, чорт возьми! Если я даже прикажу засадить этого шута, беды уж не поправишь. Я тысячу раз говорил вам: наружные ворота всегда должны быть на запоре. Во всяком случае эта штука не удалась бы, если бы вы во-время распорядились.

Тут из прилегающего кабинета поспешно, с запискою Моцарта в руках, появилась радостно взволнованная графиня.

— Знаете ли вы, — воскликнула она, — кто внизу? Прочтите, ради бога, письмо! Моцарт из Вены, композитор. Нужно сию же минуту просить его наверх. Боюсь только, что он уже ушел. Что он подумает обо мне? Вы, Фельтен, надеюсь, были с ним обходительны? Что собственно случилось?

— Случилось?—переспросил супруг, чей гнев все еще не мог улечься даже перед надеждой на посещение знаменитым человеком. — Этот сумасшедший сорвал с дерева, которое я предназначал для Евгении, один из девяти апельсинов — гм! чудовище! Теперь конец всей нашей затее, и Макс может хоть сейчас отменить свое стихотворение.

— О, нет, нет! — возразила графиня. — Пробел легко восполнить, предоставьте все дело мне. Идите же оба, освободите, примите этого замечательного человека как можно ласковее, любезнее! Он не должен сегодня уехать, необходимо его как-нибудь задержать. Если вы не застанете его больше в саду, отыщите в гостинице и приведите вместе с женой! Большого подарка, более прекрасной неожиданности для Евгении сама судьба не могла бы доставить в этот день.

— Разумеется! — откликнулся Макс. — Я того же мнения. Скорей идемте, папа! А относительно стихов, — сказал он, быстро сбегая с отцом по лестнице, — будьте совершенно покойны! Девятая муза не пострадает; напротив, я извлеку из несчастья особую выгоду.

— Это невозможно.

— Возможно вполне!

— Что ж, если так, ловлю тебя на слове: окажем виновнику весь возможный почет.

Пока все это происходило в замке, наш quasi - пленник, мало озабоченный исходом дела, занимался писаньем. Но так как никто решительно не появлялся, он начал беспокойно расхаживать взад и вперед; к тому же из харчевни пришло настоятельное извещение, что обед давно подан и кучер торопит с отъездом. В виду этого он собрал свои вещи и уже готовился без дальнейшего промедления тронуться, как господа из замка появились в беседке.

Граф оживленно приветствовал его своим громким голосом, почти так, как приветствовал бы давнишнего своего знакомого, не допустив с его стороны никаких извинений, и тотчас же высказал пожелание видеть чету Моцартов, хотя бы лишь на сегодняшний день и вечер, в кругу своей семьи.

— Вы для нас, милейший маэстро, всего менее чужой, ибо вряд ли где имя Моцарта произносится чаще или с большим воодушевлением, чем у нас. Племянница моя поет и играет, она проводит почти целый день за клавиром, знает все ваши сочинения наизусть и питает

величайшее желание увидеть вас как-нибудь в более непосредственной близости, чем удалось ей прошлую зиму на одном из ваших концертов. Так как мы в ближайшем будущем предполагаем проехаться на несколько недель в Вену, то родственники обещали нам добыть приглашение к княгине Голицыной¹⁸, где вас довольно часто можно встретить. Теперь же оказывается, что вы едете в Прагу, откуда вряд ли скоро возвратитесь, и одному богу известно, удастся ли вам навестить нас на обратном пути. Оставайтесь отдохнуть сегодня и завтра. Экипаж мы сейчас же отправим домой, а заботу о вашей дальнейшей поездке позволите просить предоставить мне.

Композитор, склонный в подобных случаях без труда приносить в жертву дружбе или удовольствиям в десять раз больше, чем требовали от него в данном случае, раздумывал недолго: он с радостью согласился остаться в замке на целый день, но с тем условием, чтобы завтра же с рассветом отправиться дальше.

Граф Макс просил доставить ему удовольствие зайти за госпожою Моцарт и отдать все нужные распоряжения на постоялом дворе.

Он направился туда, за ним по пятам должна была последовать карета.

Об этом молодом человеке необходимо попутно заметить, что он соединял с унаследованною от отца и матери живостью характера талант и любовь к изящным искусствам и, не отличаясь истинным призванием к военному делу, все же в качестве офицера выдавался своими знаниями и доблестью. Он был знаком с французской литературой и заслужил в то время, когда высшее общество почти не считалось с немецкой поэзией, одобрение своей незаурядной ловкости, с какою он сочинял стихи на родном языке, следуя хорошим образцам, найденным у Гагедорна¹⁹, Гетца²⁰ и других. Сегодня ему представился, как мы уже слышали, особенно отрадный случай использовать свой дар.

Он застал госпожу Моцарт беседующей с дочерью хозяина у накрытого стола за тарелкой супа, заказанной в ожидании обеда. Она так уже привыкла ко всякого рода странностям и смелым выходкам мужа, что появление молодого офицера и его предложение ни мало ее не смутили. С непритворной радостью обдуманно и проворно переговорила она и тотчас же уладила все требуемое сама. Вещи перенесены,

деньги уплачены, кучер отпущен; она переоделась, не выказав особой тревоги при выборе туалета, и затем весело отправилась со своим провожатым в замок, не догадываясь, каким необычайным способом ее супруг сам себя туда ввел.

Последний тем временем уже успел там вполне освоиться и вступить в непринужденную беседу. Вскоре он увидел Евгению с ее женихом: цветущее, прелестное, сердечное существо. Это была светлокудрая блондинка, ее стройный стан торжественно облекало роскошное шелковое платье алого блестящего цвета с отделкой из драгоценных кружев, а чело окружала белая повязка, украшенная жемчугом. Барон, бывший немногим старше ее, со своим мягким, открытым лицом казался ее достойным во всех отношениях.

Разговором сразу же завладел отличавшийся большою словоохотливостью, добродушный, но несколько сумбурный хозяин, щедро пересыпавший свою громкую речь различными шутками и анекдотами. Были поданы прохладительные напитки, и наш путешественник не оказал им ни малейшей пощады.

На раскрытый клавир поставили развернутые ноты „Свадьбы Фигаро“, и молодая девушка

приготовилась спеть, под аккомпанемент барона, арию Сусанны из той сцены в саду, когда широким потоком изливается на нас сладостная истома страсти, точно пьяный воздух летнего вечера. Нежный румянец на щеках Евгении сменился на несколько мгновений крайней бледностью; но с первым же звуком, который звонко раздался из ее уст, у ней исчезла всякая робость. Она держалась уверенно, на высокой волне звуков, и чувство исключительности переживаемого момента, единственного быть может в ее жизни, естественно одушевляло ее.

Моцарт был видимо поражен. Когда она кончила, подошел к ней и произнес со свойственным ему выражением совершенной сердечности:

— Что здесь скажешь, дорогое дитя, когда ваше пение—как солнце! Оно само себя славит уже одним тем, что каждому становится хорошо в его лучах. От такого пения душа чувствует себя точно младенец в ванне: она довольна и смеется, и ничего на свете лучшего ей не надо. Касательно же прочего, поверьте мне: нашему брату и в Вене не каждый день случается услышать самого себя исполненным с такою чистотою, так просто, да и с такою законченностью.

С этими словами он взял ее руку и от всего сердца поцеловал. Высокая доброта и приветливость этого человека не менее, чем столь почетная для ее дарования оценка, преисполнили Евгению тем неудержимым волнением, которое подобно легкому головокружению, и на глазах ее внезапно выступили слезы.

Тут в дверях показалась госпожа Моцарт, и тотчас же вслед за нею — новые гости, которых ожидали: одно дворянское семейство — соседи и близкие родственники, с дочерью Франциской, которую еще с детских лет соединяла с невестой самая нежная дружба и которая была принята здесь как своя.

После взаимных приветствий, объятий, поздравлений, когда оба венских гостя были представлены, Моцарт сел за клавир. Он сыграл часть концерта своего сочинения, который Евгения как раз разучивала.

Впечатление подобного исполнения в том тесном кругу, как только что описанный, естественно отличается от всякого выступления перед публикой тем несказанным удовлетворением, которое дает непосредственное соприкосновение с самим художником и его гением в привычной домашней обстановке.

Это была одна из тех блестящих пьес, где чистейшая красота, словно по какому-то капризу, становится добровольной служанкой чисто внешней красоты, но, и замаскированная в эту скорее произвольную игру форм и укрытая за массою ослепительного блеска, она в каждом движении выдает свое интимнейшее благородство и расточительно изливает свой дивный пафос.

Графиня мысленно отметила, что большинство слушателей, не исключая быть может и самой Евгении, несмотря на все свое крайнее напряжение и всю торжественную тишину во время этой чудесной игры, делило свое внимание между зрением и слухом. В непроизвольном наблюдении за композитором, его простой, даже какой-то деревянной посадкой, добродушным лицом, округлыми движениями его маленьких рук было не легко к тому же воздержаться от перекрестного огня тысячи мыслей о личности этого удивительного человека.

Когда маэстро поднялся, граф сказал, обращаясь к госпоже Моцарт:

— Высказать знаменитому художнику свое одобрение с видом знатока — не всякому бывает по плечу. Хорошо в таких случаях императорам

и королям! Все, что исходит из их уст, кажется исключительным и неповторимым. Чего только не могут они себе позволить! И как удобно например, стоя за самым стулом вашего супруга, при последнем заключительном аккорде какой-нибудь блестящей фантазии хлопнуть этого скромного избранника по плечу и сказать: „Да вам цены нет, милейший Моцарт!“ Только что слово сказано, как мигом, словно беглый огонь, пролетает по залу: „Что он ему сказал?“ — „Он сказал: «Вам цены нет»“. И всё, что попискивает, поскрипывает и „сочиняет“ музыку, вне себя от одного только слова; короче говоря, вот тот высокий стиль, императорский, фамильярный стиль, неподражаемый, из-за которого я вечно завидовал Иосифам и Фридрихам, а сейчас более, чем когда-либо, ибо сейчас я в полном отчаянии от того, что, как на грех, сколько ни пробовал шарить в своих карманах, не мог найти монеты более остроумного достоинства.

Подкупающая ловкость, с которой шутник преподнес всю эту тираду, вызвала неудержимый смех.

Затем все общество по приглашению хозяйки проследовало в разубранную круглую столовую, откуда навстречу входящим повеяло

праздничным ароматом цветов и более свежим благоприятствующим аппетиту воздухом.

Все разместились на подобающим образом распределенных местах, причем почетный гость был посажен против жениха и невесты. Соседкой его с одной стороны оказалась маленькая пожилая дама, незамужняя тетушка Франциски с другой — сама очаровательная племянница, которой скоро удалось снискать его расположение остроумием и бойкостью. Констанцию же усадили между хозяином и ее любезным провожатым, поручиком; остальные разместились вокруг них, и таким образом все расселись со всею возможною пестротою за столом, противоположный край которого оставался незанятым. На нем высились посредине две громадные фарфоровые вазы с цветными фигурами, возносящими над собой широкие чаши, наполненные доверху плодами и цветами. Стены зала были увешаны пышными гирляндами. То, что было подано и что постепенно следовало дальше, обещало повидимому продолжительное пиршество. Частью на столе, среди блюд и подносов, частью с буфета в глубине поблескивали различные благородные напитки от черно-красных до желтовато-белых, веселая пена которых, по

обычаю, венчает лишь вторую половину торжества.

До сих пор беседа, оживленно поддерживаемая с нескольких сторон, шла о всевозможных предметах. Но, так как граф уже несколько раз, сначала отдаленно, а теперь все яснее и задорнее намекал на приключение Моцарта в саду, так что одни таинственно улыбались, а другие тщетно ломали голову, в чем тут дело, наш герой решил выступить с объяснениями.

— Я хочу покаяться, — начал он, — в том, каким собственно образом я имел честь познакомиться с этим благородным домом. Роль моя при этом не из самых почтенных: чуть-чуть на волосок иначе, и вместо веселого пира я сидел бы теперь в каком-нибудь глухом арестантском углу графского замка и созерцал бы на пустой желудок паутину на стенах.

— Ну, вот! — воскликнула госпожа Моцарт: — хорошенькие вещи придется мне услышать!

Он подробно описал сначала, как оставил жену в „Белом коне“, затем прогулку в парк, роковую историю в беседке, столкновение с садовой стражей; короче говоря, он поведал с величайшим простодушием и к крайнему удо-

вольствию слушателей все то, о чем мы приблизительно уже знаем. Смех почти не прекращался во время рассказа; и даже столь сдержанная Евгения не удержалась: ее буквально трясло от смеха.

— Что же! — продолжал он. — Пословица гласит: „И насмешка не страшна, если польза видна“. Из этой истории я извлек для себя маленькую выгоду, вот увидите. Но прежде всего выслушайте, как собственно случилось, что взрослое дитя могло до такой степени забытья. Во всем виновато одно воспоминание юности.

„Весною 1770 года, тринадцатилетним мальчуганом, отправился я с моим отцом в Италию. Из Рима мы поехали в Неаполь. Я дважды играл в консерватории, а также несколько раз и в других местах. Знать и духовенство оказывали нам немало внимания; особенно же привязался к нам некий аббат, полагавший себя в числе знатоков музыки и к тому же пользовавшийся известным весом при дворе. За день до нашего отъезда он повел нас, в сопровождении нескольких других господ, в королевский парк Villa Reale, расположенный вдоль прекрасной дороги у самого моря, где показывала свое искусство труппа сицилийских *commedianti* —

figli di Nettuno²¹, как они именовали себя, на-ряду с другими местными названиями. Вместе с великим множеством избранной публики, среди коей присутствовала даже приветливая молодая королева Каролина с двумя принцессами, мы сидели на расставленных длинными рядами скамьях под сенью крытой как шатер галереи, о стены которой бились волны. Море, во всем разнообразии своих оттенков, дивно отражало синеву солнечного неба. Прямо перед нами был Везувий, слева мягкой дугой мерцал восхитительный берег.

„Первое отделение игр было закончено; они происходили на досчатой поверхности особого рода плотов, державшихся на воде, — вот и все; вторая же и самая прекрасная часть состояла из разнообразных упражнений для моряков, пловцов и водолазов и навсегда запечатлелась в моей памяти во всех подробностях.

„С двух противоположных сторон приблизились друг к другу две изящно и очень легко построенные барки, совершавшие, казалось, увеселительную прогулку. На одной, несколько больших размеров, богато разукрашенной, с позолоченным носом, стояла тонкая мачта с парусом, были скамьи для гребцов и даже устроена полу-

палуба. Часть из пяти идеально прекрасных юношей, с обнаженными руками, ногами и грудью, сидела на веслах, а часть услаждала себя прогулкой с равным числом девушек, их возлюбленных. Одна из девушек, сидевшая посреди палубы и занятая плетением венка из цветов, выделялась среди своих подруг своим ростом, красотой и богатым нарядом. Остальные прислуживали ей, держали, защищая от солнца, над ее головой развернутую ткань и передавали ей цветы из корзины. У ног ее поместилась флейтистка, и прозрачные звуки флейты вторили пению сидевших. У несравненной этой красавицы был защитник; но держались они друг с другом довольно безразлично, и любовник показался мне чересчур уж грубоватым.

„Тем временем подъехало другое, более простое судно. В нем находились исключительно мужчины. Юноши первого — были все в ярко-красном, второго — в зеленом, цвета морской воды. При виде прелестных девушек они изумились, начали издали посылать им приветствия и выражать по-всякому желание познакомиться поближе. И вот самый бойкий из них сорвал с своей груди розу и с лукавством поднял ее

над головой, как бы спрашивая, могут ли подобные подарки рассчитывать на благосклонный прием, на что им отвечали недвусмысленными жестами. Красные смотрели на все это презрительно и мрачно, но ничего не могли поделать когда некоторые из девушек сговорились бросить беднягам хоть что-нибудь для утоления голода и жажды. На палубе стояла корзина, полная апельсинов: вероятно, то были просто желтые мячи, очень похожие на настоящие апельсины. И вот началось восхитительное зрелище под музыку, расположившуюся на берегу.

„Одна из девушек положила начало и легким взмахом руки перебросила пару апельсинов, которые, будучи пойманы с такою же легкостью, возвратились тотчас обратно; и снова туда и сюда, туда и сюда, и так как мало-помалу все больше и больше девушек вступало в игру, то вскоре летало не менее дюжины апельсинов взад и вперед, во все ускоряющемся темпе. Красавица не принимала никакого участия в борьбе, она лишь с жадным вниманием следила за нею со своей скамьи. Мы не могли вдоволь надивиться ловкости, обнаруженной обеими сторонами. Барки медленно кружили друг возле друга на расстоянии шагов тридцати,

то поворачиваясь одна к другой всем бортом, то половиною носа; около двадцати четырех мячей непрерывно взлетало в воздухе, но в суматохе казалось, что их гораздо больше. Минутами был настоящий перекрестный огонь, часто они вздымались и падали высокой дугой, лишь изредка тот или иной пролетал мимо; было впечатление, что они низвергаются сами собой силою притяжения в протянутые руки.

„Столь же приятным образом, как зрение, услаждался наш слух: сицилианские песенки, пляски, сальтареллы, *canzoni a ballo*²², целое *quod-libet*²³ едва связанных между собою, подобно гирляндам, мелодий. Младшая принцесса, очаровательное, непринужденное создание, моих приблизительно лет, премило отбивала такт, качая головкой; и посейчас предо мною ее смех и длинные ресницы ее глаз.

„Теперь позвольте мне вкратце рассказать вам дальнейшие их трюки, хотя это уже и не имеет отношения к моему предмету.

„Не легко придумать что-либо более привлекательное. Когда перепалка мало-по-малу стала утихать, сведясь к обмену отдельными мячами, и девушки начали уже собирать свои золотые яблоки и складывать их в корзину,

один из мальчиков другой партии, точно играючи, раскинул широкую зеленоватую сеть и опустил ее на мгновение в воду; потом поднял, и, ко всеобщему изумлению, в ней оказалась отливающая голубоватым, зеленым и золотистым цветом большая рыба, которая плавала и билась. Стоявшие вблизи живо подскочили, чтобы вытащить ее, но она выскользнула из рук, точно настоящая, и упала в море. Это оказалось условной военной хитростью, дабы одурачить красных и выманить их из барки. Последние, словно замороженные чудом, не стали, — едва лишь заметили, что рыба не собирается, играя на поверхности, погружаться в волны, — раздумывать ни мгновения, а кинулись все в море, зеленые за ними, и перед нами оказалось таким образом двенадцать ловких, красиво сложенных пловцов, старавшихся поймать ускользящую от них рыбу, которая то покачивалась на волнах, то исчезала в них, то и дело показываясь то тут, то там, между ногами одного, между грудью и подбородком другого. Как вдруг, когда красные особенно горячо увлеклись своей ловлей, партия других, увидя преимущество своего положения, быстро, как молния, взобралась на чужую барку, где находились одни девушки, при гром-

ком крике последних. Самый видный из юношей, сложенный как Меркурий, бросился с сияющим лицом к самой красивой из них, обнял и поцеловал ее; она же, далекая от того, чтобы присоединиться к крикам других, пламенно заключила в свои объятия хорошо знакомого ей юношу. Обманутый отряд, поспешно приплыв обратно, был однако отогнан от борта веслами и оружием. Их бессильная злоба, вопли ужаса девушек, решительное сопротивление некоторых из них, просьба их и мольбы, почти заглушаемые всем остальным шумом — воды, музыки, внезапно принявшей иной характер, — это было прекрасно, выше всякого описания, и зрители разразились бурей восторгов.

„В эту минуту разворачивается дотоле лишь слегка подвязанный парус: из него выходит розовый мальчик с серебряными крылышками, с луком, стрелой и колчаном; и в очаровательной позе начинает смело покачиваться на рее. Все весла в полном ходу, парус надувается; но казалось, что сильней весел и паруса гонит судно вперед вот это присутствие бога и устремленность его жеста — „вперед“, так что почти задохшиеся преследователи-пловцы, из коих один левой рукой держит высоко над головой

золотистую рыбу, должны оставить всякую надежду и, исчерпав свои силы, искать убежища на покинутой барке. Зеленые тем временем добираются до маленького, покрытого кустарником мыса, откуда неожиданно показываются из засады огромные лодки с вооруженными людьми. Перед лицом столь угрожающих обстоятельств, маленький отряд поднимает белый флаг, готовый начать переговоры о мире. Ободренные подобным же сигналом с другой стороны, они направляются к пристани, и там все девушки весело поднимаются со своими возлюбленными на их собственное судно, кроме одной, оставшейся добровольно. Игра кончилась“.

— Мне представляется,—так с заблиставшим взором шепнула Евгения барону, когда рассказчик умолк и присутствующие стали выражать свое одобрение,—что это от начала и до конца была красочная симфония и к тому же превосходный символ моцартовского духа во всей его радостной ясности. Не правда ли? Разве не заключена в этом повествовании вся грация „Фигаро“?

Жених только что собирался поделиться ее замечаниями с Моцартом, как тот заговорил снова:

— Прошло семнадцать лет с тех пор, что я был в Италии. Тот, кто хоть однажды побывал в ней, особенно в Неаполе, даже — как я — почти ребенком, разве не вспоминает он об этом всю жизнь? Но с такой живостью, как сегодня в вашем саду, так едва ли когда случалось мне вспоминать последний тот вечер на берегу залива. Стоило только закрыть глаза — и совершенно ясно, отчетливо божественные очертания тех мест вставали пред мною. Море и берег, горы и город, пестрая человеческая толпа вдоль побережья и чудесная игра с мячами. Мне казалось, что в ушах моих звучит та же музыка, что во мне — точно букет из роз — целый поток радостных мелодий, сменяющих друг друга, своих и чужих, и то и се. И вдруг выскакивает негаданно песенка в ритме танца, шесть восьмых, совершенно для меня новая. Стоп, — подумал я, — это что такое? Как будто чертовски хорошенькая штучка! Вглядываюсь ближе — гром и молния! Да это Мазетто ²⁴, да это ж Церлина ²⁵!

И он усмехнулся в сторону госпожи Моцарт, которая тотчас отгадала его мысль.

— Дело попросту вот в чем, — продолжал он. — В первом акте у меня оставался недоделанным маленький, легкий номер — дуэт и хор

сельской свадьбы. Два месяца тому назад, когда настало время приняться за них, мне это не удалось как-то сразу. Мотив простодушный и ребяческий и брызжущий весельем, букет из свежих цветов с вьющейся лентой, приколотой к груди деревенской девушки, — вот что тут требовалось. Так как ни в чем, даже в малом, не следует принуждать себя и так как подобные мелочи при случае часто улаживаются сами собой, я и не заботился и почти не думал о них, пока продолжалась основная работа. Сегодня в карете, перед самым въездом в деревню, мелькнул у меня совершенно мимолетно в уме текст дуэта; но дальше из этого ничего не вышло: осознать его по крайней мере мне не удалось. И вот, какой-нибудь час спустя, в беседке, у фонтана, я поймал мотив, лучше и счастливее которого мне не удалось бы найти никогда в жизни. В искусстве случаются иногда удивительные вещи, но со мной ничего подобного не бывало. Ибо мелодия, словно рубашка к телу, в совершенстве подошла к стихам... Приэтом мысленным взорам моим так живо представились танцы Церлины и так чудесно в них вплетался смеющийся ландшафт Неаполитанского залива. Я слышал впер-

межку — голоса новобрачных и хор девушек и парней.

Тут Моцарт стал весело напевать начало песенки:

Giovinette, che fatte al'amore, che fatte al'amore,
Non lasciate che passi l'età, che passi l'età,
che passi l'età!

Se nel seno vi bulica il core, vi bulica il core,
Il remedio vedete lo quà! La! la! la! La! la! la!
Che piacer, che piacer, che sarà!

Ah la la! Ah la la! * [и т. д.].

— Тем временем руки мои натворили великую беду. Немезида уже подстерегала меня за забором и выступила в лице страшного мужа в синем камзоле с галунами. Если бы внезапно в тот божественный вечер на берегу моря извержение Везувия засыпало и похоронило под черным дождем пепла актеров и зрителей и все великолепие Парфенопеи, ей-богу такая катастрофа не показалась бы мне

* Ах, девицы, любить спешите, любить спешите,
Не забудьте: проходят года, проходят года, прохо-
дят года!

Если в сердце любовь ошутите, любовь ошутите,
Вам лекарством любовь будет та! Ла! ла! ла! Ла! ла! ла!
Что за счастье случится тогда!

А ла ла! А ла ла!

неожиданней и ужасней! Ах, чорт побери! В подобный жар меня еще ни от чего не бросало! Лицо — точно из камня, напоминающее жестокого римского кесаря Тиверия. „Если таков слуга, — подумал я, когда он ушел, — то как же должен выглядеть барин!“ Все же, по правде сказать, я порядком рассчитывал на заступничество дам, и не без основания. Благо вот эта малютка, жenuшка моя, немного любопытная от природы, доставила возможность толстой хозяйке харчевни рассказать всё наиболее достопримечательное насчет всех без исключения членов господского семейства. Я присутствовал приэтом и таким образом услышал...

Тут госпожа Моцарт не могла не прервать его, чтобы самым положительным образом удостовериться, что, напротив, именно он обо всем расспрашивал. Это привело к шутивому спору между мужем и женой, над чем присутствующие не мало посмеялись.

— Пусть будет так, как кому хочется, — сказал он. — Словом, я что-то такое краешком уха услышал о милой приемной дочери, которая выходит замуж, очень хороша собой, сама доброта и будто бы поет как ангел. „Per dio! — пришло мне в голову: — вот как ты можешь

выкарабкаться из своей беды! Ты тотчас же сядешь, запишешь песенку, насколько это удастся, объяснишь свою глупую выходку по всей правде, и выйдет из этого отличная шутка“. Сказано— сделано! Времени было достаточно, к тому же нашелся еще чистый листочек бумаги с зелеными линейками. А вот и самая вещь! Прошу прекрасные ручки, если они на то согласны, принять этот симпровизованный ко дню их обручения дар.

С этими словами он протянул чисто переписанный листок через стол Евгении; но рука дяди предупредила его, — он перехватил подарок и воскликнул:

— Еще минуту терпения, дитя мое!

По знаку дяди двустворчатая дверь салона широко распахнулась, и показались слуги, которые бесшумно внесли в зал и опустили на скамью у стола злополучное померанцевое дерево, а рядом, слева и справа, поставили два стройных мирта. Прикрепленная к стволу померанца надпись гласила, что дерево принадлежит невесте. На самом виду под деревом стояла во мху фарфоровая тарелка, накрытая салфеткой. Когда салфетку сняли, то под нею оказался разрезанный апельсин, и дядя

с лукавым видом сунул туда же автограф маэстро. Это привело всех в полный восторг.

— А Евгения, — сказала графиня, — повидимому не догадывается, что именно перед нею стоит. Она как будто бы не узнает своего прежнего любимца, похорошевшего благодаря листве и плодам.

Изумленная девушка недоверчиво перевела взгляд с деревца на дядю.

— Это невозможно! — сказала она. — Я отлично помню, что его нельзя было спасти.

— Так ты думаешь, — возразил последний, — что я подыскал для тебя примерно точно такое же взамен? Похоже на правду! Нет, ты взгляни-ка сюда! — Теперь мне придется восстановить истину так, как это полагается в комедиях, где без вести пропавших братьев или детей узнают по родинке на шее или по другим тому подобным приметам. — Взгляни-ка на этот нарост! И сюда, на этот рубец: крест-накрест. Да ты сто раз их, вероятно, замечала! Ну, то или не то?

Больше она не могла сомневаться; она была удивлена, обрадована, растрогана. С этим деревом было связано для семьи более чем вековое воспоминание об одной исключительной

женщине, которая вполне заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько слов.

Дедушка графа, прославленный своим дипломатическим искусством и, благодаря заслугам, оказанным им венскому кабинету, пользовавшийся полным доверием как первого, так и второго регентов престола, не менее был счастлив и в своем домашнем кругу, со своей превосходной супругой — Ренатой-Леонорой. Двукратное пребывание с мужем во Франции привело к отношениям с блестящим двором Людовика XIV и к общению со многими из самых интересных кавалеров и дам этой достопримечательной эпохи. Принимая непосредственное участие в вечной смене одних житейских удовольствий с их остроумием и изобретательностью другими, она ни на йоту не изменяла, ни словом ни делом, врожденной немецкой порядочности и строгости нравов, что отчетливо напечатлено и в энергических чертах сохранившегося портрета графини. Возможно, что, благодаря такому своему образу мыслей, являла она своеобразную наивную оппозицию в данном обществе, и оставшаяся после нее переписка хранит много следов того, с какой прямоотой и врожденной настойчивостью эта оригинальная женщина

умела отстаивать свои здоровые принципы и взгляды — в вопросах религии, литературы, политики и иных — и нападать на слабые стороны этого общества, ни мало не становясь ему в тягость. Ее живой интерес ко всем тем лицам, которых можно было встретить в доме некоей Нинон, являвшемся одним из центров изысканнейшей духовной культуры, был такого рода и направления, что прекрасно совмещался с высокой дружбой между нею и одной из благороднейших женщин того времени — госпожа де Севинье²⁶. После смерти бабушки, в ее черного дерева шкафике, на-ряду с некоторыми смелыми шутками Шапелля²⁷, обращенными к ней и собственноручно нацарапанными им на листочках с каймой из серебряных цветов, нашлись также весьма нежные письма маркизы и ее дочери к своей верной австрийской подруге.

Из рук госпожи де Севинье и получила она как-то на садовой террасе, во время одного из празднеств в Трианоне, ветку померанца в цвету, которую наудачу посадила в цветочный горшок и, счастливо принявшуюся, увезла с собой в Германию.

Лет двадцать пять подрастало постепенно на ее глазах деревцо, а впоследствии за ним

с чрезвычайной заботливостью ухаживали дети и внуки. Оно могло бы, независимо от своей личной ценности, служить живым символом изысканности вкусов той чуть ли не обоготворенной эпохи, в которой мы в настоящее время, конечно, можем найти мало заслуживающего похвалы, эпохи, уже таившей в себе роковое грядущее, наступление которого потрясло мир и было уже не за горами от момента нашего безобидного рассказа.

Евгения больше других оказывала любовного внимания наследию почтенной прародительницы, — почему дядя и давал ей зачастую понять, что когда-нибудь оно перейдет в ее руки. Тем прискорбнее ей было узнать, что весной прошлого года, которую она провела вне замка, деревцо стало хиреть: листья пожелтели, и целый ряд веток засох. Так как не было никакой видимой причины для его увядания и никакие средства не помогали, то садовник счел его погибшим, хотя, при естественном порядке вещей, оно легко могло бы просуществовать вдвое и даже втрое дольше. Тогда граф, по совету знатока-соседа, распорядился, чтобы попытались выходить его в особом помещении и в совершенной тайне, по одному из странных

и даже загадочных способов, практикуемых простонародьем. И его надежды преподнести в один прекрасный день любимой племяннице сюрприз в виде ее старого друга, обретшего новые силы и отягощенного вновь плодами, превзошли все ожидания. Поборов нетерпеливость, хотя и несколько озабоченный вопросом, как долго могут продержаться плоды не опадая, так как среди них было уже не мало совершенно спелых, он отложил свои намерения на несколько недель, до сегодняшнего торжества. После этого нет необходимости распространяться о том, с каким чувством должен был этот добряк увидеть свою радость омраченной каким-то незнакомцем в самый последний момент.

Лейтенант еще перед обедом улучил минутку, чтобы переписать начисто свое послание в стихах — к торжественной передаче дерева и изменить в нем конец, приспособив по возможности чересчур серьезное содержание стихов к новым обстоятельствам. Теперь он вытащил свой листок и, поднявшись со стула, прочел его вслух, обращаясь к кухне. Вот вкратце содержание этих строк.

Потомок прославленного в древности дерева Гесперид, того, что взросло на одном из островов,

лежащих на западе, в саду Юноны, и было для нее брачным подарком от матери - Земли, того, что охраняли три нимфы с мелодичными головами, — его предназначение то же, тем более желанное и чаемое, ибо обычай дарить прекрасной невесте столь же прекрасен, как прекрасна она, и давно уже перешел от богов к смертным.

После долгого и тщетного ожидания нашли наконец как будто деву, на которую может деревцо обратить свои взоры. Благосклонно она относится к нему и часто навещает его. Но мусийский лавр, гордый сосед его на берегу источника, возбудился ревностью и угрожает похитить для любви мужей сердце и ум одаренной к искусствам красавицы. Вотще утешает его мирт и учит терпению на собственном примере; долгое отсутствие любимой из любимых в конце концов — налицо, и это усиливает его скорбь и становится, после непродолжительного увядания, для него смертельным.

Лето возвращает далекую, возвращает ее с сердцем, счастливо преображенным. Деревня, замок, сад — все встречает ее ликованиями. Розы и лилии, в возвышенном мерцании, восторженно и стыдливо поднимают к ней свои взоры. Кусты

и деревья приветствуют ее. Но, ах, для одного из них, для благородного избранника, явилась она слишком поздно! Она находит крону его иссохшей, а безжизненного ствола его и ломких концов ветвей коснулись ее пальцы. Он больше не узнает и не увидит той, которая так ухаживала за ним. Как плачет она, потоком струятся ее нежные жалобы!

Аполлон услышал издалека голос дочери своей. Он идет, он подходит и взирает с состраданием на ее горе. Как только бог коснулся своей всеисцеляющей рукой дерева, оно содрогнулось все, и иссякнувшим-было соком мощно наливаются его ветви; вот показалась молодая листва, вот белые цветы, там и тут, распускаются в изобилии, полные амвросии. Вот, — ибо что невозможно для небожителей?! — наливаются прекрасные круглые плоды, трижды три, по числу девяти сестер; они растут, сменяя прямо на глазах свою зеленую отроческую окраску на золотую. Феб, — так кончалось стихотворение, —

Феб опять плоды считает,
Смотрит радостно на них.
Даже слюнка орошает
Рот его в тот самый миг.

Улыбаясь, бог певучий
Самый спелый выбрал плод;
„Красота, разделим лучший,
Для Амура ж ломтик — вот!“

Поэт пожал шумные одобрения, и ему охотно простили конец во вкусе барокко, благодаря чему впечатление целого действительно было совершенно нарушено.

Франциска, у которой то хозяин, то Моцарт уже неоднократно вызывали прилив живого юмора, будто что-то вспомнив, быстро убежала и вернулась с коричневой английской гравюрой больших размеров, висевшей неприметно под стеклом и в раме в одной из дальних комнат.

— Должно быть, все же правда то, о чем я всегда слышала, — воскликнула она, устанавливая гравюру в конце стола, — что ничего нового нет под солнцем! Вот сцена из золотого века — и разве мы ее не пережили сегодня? Я надеюсь, что тут Аполлон узнал бы себя.

— Великолепно! — торжествовал Макс. — Вот он, прекрасный бог, изображенный в тот момент, когда, полон задумчивости, склонился над священным источником. И это не всё: взгляните только, вот старый сатир в кустах, подслушивающий его! Можно поклясться, что Аполлон

вспоминает о давно забытом аркадском танце, которому его в детстве учил под звуки лютни старик Хирон.

— Да, это так и есть! — захлопала в ладоши Франциска, стоявшая позади Моцарта. — И, — продолжала она, обращаясь к нему: — замечаете ли вы отягченную плодами ветвь, которая склоняется к небожителю?

— Совершенно верно! Это посвященное ему масличное дерево.

— Ни в коем случае! Это — очаровательнейшие померанцы! Сию минуту он в рассеянности сорвет один из них...

— Скорее, — воскликнул Моцарт, — он сию минуту замкнет этот лукавый ротик тысячью поцелуев! — С этими словами он схватил ее за руку и поклялся не отпускать до тех пор, пока она не подставит ему своих губ, что она и сделала без особенно долгого сопротивления.

— Прочтите же нам, Макс, — сказала графиня, — что написано под картиной.

— Это — стихи из знаменитой оды Горация. Недавно берлинский поэт Рамлер²⁸ блестяще перевел ее по-немецки. Она полна высокого вдохновения. Как великолепно хотя бы вот это место:

. . . вот он, что бесцельно
По-за плечом не носит лука.
Делос — жилище чье, где цветущая
Роша и брег Патара тенистого;
Тот, что своей главы златые
Кудри купает в кастальских струях.

— Прекрасно! Действительно прекрасно! —
сказал граф. — Только кое-что требует необходи-
мых пояснений. Так например, „он, что
бесцельно по-за плечом не носит лука“, должно
бы попросту обозначать всегда прилежнейшего
из скрипачей. Да, что, бишь, я хотел сказать:
милейший Моцарт, вы сеете раздор между двух
нежных сердец.

— Надеюсь, что нет. Как так?

— Евгения завидует своей подруге и имеет
на то полное основание.

— Ага! Вы уже подметили мою слабую
струнку. А что скажет жених?

— Раз - другой готов посмотреть сквозь
пальцы.

— Очень хорошо! Мы примем это к сведе-
нию. Но не беспокойтесь, господин барон!
Опасности нет, пока Аполлон не даст взамен
мне своего лица и длинных желтых кудрей.
Я бы не прочь, если б он на это согласился.

Вместо того он мог бы получить косу Моцарта вместе с одним из самых лучших бантов.

— Тогда бы Аполлон надолго запомнил, — расхохоталась Франциска, — как погружать свою новую французскую прическу в кастальские струи!

Среди подобных шуток веселье и задор всё увеличивались. На мужчинах мало-по-малу начинало сказываться вино многочисленных тостов, и Моцарт пришел в то настроение, когда он начинал обычно говорить стихами, в чем его поддерживал лейтенант, да и папа не захотел отставать, и раза два это удалось ему на славу. Но такие вещи почти не поддаются передаче: они собственно неповторимы, так как отсутствует то, что делает их на своем месте и в свое время неотразимыми, — нет общей приподнятости настроения, блеска, экспрессии личного выражения в словах и взорах.

Между прочим, старая дева-барышня провозгласила в честь маэстро тост, пожелав ему создать еще длинный ряд бессмертных творений.

— *A la bonne heure!* Я присоединяюсь, — воскликнул Моцарт и крепко чокнулся своим бокалом.

Тогда граф начал с большой силой и верностью интонации петь собственную импровизацию:

	Да хранит его нам гений Для приятнейших творений!
Макс (подхватывая).	Шиканедер ²⁹ пусть не знает, И да-Понте ³⁰ не мечтает...
Моцарт.	Меньше всех сам автор мог Знать о них за этот срок!
Граф.	Всех, всех, всех, чтоб итальянец Дождался бы их, поганец, Самый главный лицемер — Этот <i>signor Vonbonnière!</i> *
Макс.	Чтобы умер старым, старым!..
Моцарт.	Если вдруг со всем товаром
Все (<i>con forza</i>) ³¹ .	Чорт не схватит, например, Господина <i>Vonbonnière.</i>

Благодаря тому, что граф столь распелся, случайно составившийся терцет с повторением последних четырех строчек превратился в так называемый конечный канон, и у фрейлейн тетушки нашлось достаточно юмора или самонадеянности, чтобы ловко, со всевозможными украшениями присоединить к ним и свое

* Так называл Моцарт в дружеском кругу своего коллегу Сальери, который был большим лакомкой; в то же время и намек на слашавость его особы.

разбитое сопрано. Моцарт после дал обещание обработать на досуге эту шутку по всем правилам искусства, специально для данного общества, что потом и исполнил в Вене.

Евгения давно уже тихонько ознакомилась с содержанием своего сокровища из беседки Тиверия. Все требовали теперь, чтобы она исполнила дуэт вместе с композитором, и дядя тоже был не прочь снова показать свой голос в хоре. Поэтому все поднялись и направились в большую соседнюю комнату с клавиром.

Хотя исполнение и привело всех в чистейший восторг, все же самое содержание послужило быстрым переходом к тому разгару всеобщего веселья, в котором музыка сама по себе не играет больше никакой роли. И, правду говоря, первым подал к тому повод наш герой. Выскочив из-за клавира, он подошел к Франциске и, в то время как Макс с готовностью взялся за скрипку, он уговорил ее протанцовать „шлейфер“. Хозяин дома, не теряя времени, пригласил госпожу Моцарт. В один миг вся мебель, которую только можно было сдвинуть с мест, была вынесена расторопными слугами, чтобы очистить побольше пространства для танцев. Каждый должен был поочередно сделать тур, и старая

дева-тетушка ни мало не была в претензии на любезного лейтенанта, пригласившего ее на менуэт, танцуя который, она, казалось, совершенно помолодела. Наконец, когда Моцарт танцевал с невестой „кераус“, он наилучшим образом воспользовался своим, получившим подтверждение, правом на ее прелестный ротик.

Настал вечер, близился закат. Только теперь стало хорошо на воздухе, и графиня предложила поэтому дамам пройтись в сад, дабы немножко освежиться. А мужчин граф пригласил в биллиардную, ибо Моцарт, как известно, очень любил эту игру.

Итак общество разбилось на две группы. Мы со своей стороны последуем за дамами.

Медленно пройдясь несколько раз взад и вперед по главной аллее, они поднялись на круглый холм, наполовину обнесенный высоким трельяжем, увитым виноградом, откуда открывался вид на поля, деревню и проезжую дорогу. Последние лучи осеннего солнца отливали красноватым блеском сквозь виноградную листву беседки.

— Не посидеть ли нам здесь, — предложила графиня, — если госпожа Моцарт будет не прочь

рассказать нам что-нибудь о себе и о своем супруге?

Последняя согласилась очень охотно, и все с большим удовольствием расселись на сдвинутых в кружок стульях.

— Я хочу предложить вашему вниманию то, что вы все равно должны будете узнать, так как это имеет отношение к той маленькой шутке, которую я собиралась вам описать. Мне пришло в голову почтить невесту в воспоминание об этом радостном дне подарком особого рода. Он является столь мало предметом роскоши и моды, что может быть интересным в некотором смысле единственно лишь благодаря своей истории.

— Что бы это могло быть? — сказала Франциска. — По меньшей мере чернильница великого человека.

— Вы почти угадали! Не пройдет и часа, как вы увидите, что это такое: сокровище находится в дорожном чемодане. С вашего позволения, я начну несколько издали.

„В позапрошлую зиму повышенная раздражительность, чаще обычного дурное настроение, лихорадочная возбудимость Моцарта — все это заставляло меня прямо-таки опасаться

за состояние его здоровья. В обществе еще порой неестественно веселый, дома он большею частью жаловался, вздыхал, держался замкнуто. Доктор предписал ему диету, пирмонтские воды ³² и прогулки за город. Пациент не придавал большого значения доброму совету: лечение казалось неудобным, отнимало время, шло вразрез с распределением дня. Тогда доктор порядком напугал его. Ему пришлось выслушать целую лекцию о кровообращении, о кровяных шариках, о дыхании и флогистоне ³³ — всё неслыханные вещи; а также о том, что собственно имела в виду природа относительно еды, питья, пищеварения. Во всем этом Моцарт до сих пор никогда не разбирался, будучи столь же невинным младенцем, как и его пятилетний сын. Лекция действительно произвела заметное впечатление. Не прошло и получаса после ухода доктора, как я нашла своего мужа в его комнате задумчиво, но с повеселевшим лицом, разглядывающего палку, которую он искал и благополучно обрел в шкафу со старыми вещами. Я никак не думала, что он может о ней вспомнить. Она принадлежала еще моему отцу: это была отличная трость с большим набалдашником из лапис-лазули. Никогда еще

никто не видал палки в руках Моцарта; я расхохоталась.

„ — Ты видишь, — воскликнул он, — я готов запрячься в леченье! Я стану пить воды, совершать каждый день моцион на свежем воздухе, и эта вот палка пригодится. Мне только что пришли в голову различные мысли. Неподаром же, подумал я, другие, положительные люди не могут обойтись без палки. Наш сосед, коммерции советник, никогда без нее не перейдет улицы; даже когда шествует к куму — палка должна быть при нем. Когда ремесленники и чиновники, канцеляристы, лавочники и торговцы гуляют по воскресеньям с семьями на форштате³⁴, у каждого из них с собой его заслуженный, верный посох. Я очень часто наблюдал, как на площади св. Стефана, этак за четверть часика до проповеди и начала службы, беседуют, разбившись на кучки, наши почтенные бюргеры: тогда так хорошо видно, что каждая из скромных добродетелей — их прилежание, любовь к порядку, ровный характер, довольство судьбой — крепко опирается на честную палку как на надежную опору. Одним словом, в этой прадедовской, пускай и бесвкусной несколько, привычке есть что-то особо утешительное

и особо благодатное. Можешь верить мне или нет, но прямо не терпится пройтись по скаковой дорожке за мост, сделать первый променад вот с этим добрым другом. Мы уже немножечко знакомы, и я надеюсь, что наш союз заключен навеки.

„Но союз оказался недолговечным: после третьего совместного променада спутник больше не вернулся. Был приобретен другой, сохранявший верность несколько дольше. Во всяком случае, я приписываю пристрастия к палке добрую часть той выдержки, с которой Моцарт в течение трех недель довольно сносно исполнял предписания врача. Не замедлили и благоприятные результаты: мы никогда не видали его таким бодрым, свежим и в таком ровном настроении. К сожалению, он вскоре опять позеленел, — и это было для меня чистым наказанием. Тут-то и случилось ему, усталому от напряженной работы за день, отправиться поздно вечером, ради двух-трех любопытствующих приезжих, еще на музыкальное *soirée* ⁸⁵. Только на часок, как он мне свято обещал. Но в таких случаях, когда он точно прирастает к клавиру, люди больше всего и злоупотребляют его добротой, ибо он тогда — как человек на

монгольфьере, парящий над землей, на шестимильной высоте, куда не долетает даже колокольный звон. Ночью я два раза послала туда слугу — напрасно: он не мог добиться своего господина. Наконец в три часа ночи он вернулся домой. Я решила, что буду целый день самым серьезным образом на него дуться“.

Тут госпожа Моцарт обошла молчанием некоторые обстоятельства. Должно сознаться, что на этот вечер ожидали приезда молодой певицы, синьоры Малерби, поведением которой Констанция имела все основания быть крайне недовольной. Эта римлянка попала в оперу благодаря содействию Моцарта, и, вне всякого сомнения, на долю ее кокетливых уловок надо отнести немалую часть благоволения маэстро. Кое-кто утверждал даже, будто бы она в течение нескольких месяцев завлекала его и что ему довольно-таки сильно пришлось „пожариться на медленном огне“. Было ли так на самом деле, или сильно преувеличивали, но верно то, что она вела себя дерзко и неблагодарно и даже позволяла себе насмехаться над своим благодетелем. Совершенно в ее духе то, что она перед одним из своих более счастливых поклонников просто назвала его *un piccolo grifo raso* (бри-

тым пороссячьим рыльцем). Выдумка, достойная Цирцеи, тем более обидная, что в ней, надо признаться, все же заключалась крупница истины *.

Возвращаясь домой с вечера, в котором певица впрочем по случайной причине не участвовала, один приятель, в приливе откровенности под влиянием выпитого вина, совершил нескромность, передав маэстро эти злые слова, чем испортил ему настроение, ибо это собственно являлось первым недвусмысленным доказательством совершенного бессердечия его протеже. От сильного возмущения по этому поводу он даже не сразу восчувствовал ледяной прием у постели жены. Одним духом выложил он ей свою обиду, и эта прямота заставляет предполагать в нем меньшее сознание своей вины. В жене почти шевельнулось сострадание, но она выдержала характер: это не должно было ему так легко сойти. Поднявшись после тяжелого сна уже днем, он не нашел дома ни своей

* Тут имеется в виду маленькая гравюрка в профиль, превосходной работы, помещенная на титульном листе одного из фортепьянных произведений Моцарта, бесспорно — одно из лучших в смысле сходства изображений его по сравнению со всеми другими, даже с появившимися за последнее время [1856] в продаже.

женушки ни обоих мальчуганов, а стол был накрыт для него одного.

Ничто не делало Моцарта столь несчастным, как размолвка со своей дражайшей половиной. А если бы он еще знал, какую другую заботу таила она в себе уже в течение нескольких дней! Воистину одну из наихудших забот, которую, щадя его, старалась по обыкновению возможно дольше скрывать: ее наличность недавно пришла к концу, а впереди ничего не предвиделось. Ни капли не подозревая об этой домашней нужде, он все же находился в том подавленном душевном состоянии, которое можно сравнить с состоянием полной беспомощности. Он не мог есть, не находил себе места. Быстро одевшись, чтобы только не оставаться среди угнетавшей его домашней обстановки, он, написав по-итальянски записку: „Ты мне порядком-таки задала; ну, да так мне и надо. Но я прошу тебя, будь доброй и засмейся, когда я вернусь. На душе у меня так, точно я стал картезианским монахом или траппистом, я готов реветь как теленок, уверяю тебя!“ — надел шляпу, но палки не взял: ее время прошло.

Заменяв Констанцию в ее рассказе, попробуем еще несколько продолжить это.

Из своей квартиры у Шранны наш милый супруг поплелся, свернув направо, по направлению к цейнгаузу, — был теплый, чуть облачный летний день, — задумчиво-небрежно прошел он так называемый Двор и дальше, мимо пастората, мимо церкви Богоматери, по направлению к Шоттентору, где поднялся стороной слева на Молькерский бастион, избежав таким образом приветствий многочисленных знакомых, возвращавшихся в город. Но не долго он наслаждался здесь, — впрочем без помехи со стороны молча шагавшего у пушек взад и вперед часового, — замечательным видом на зеленую Глацийскую долину и пригороды вплоть до Каленберга и на юг до Штирийских Альп. Безмятежный покой окружавшей его природы находился в полном разладе с его внутренним душевным состоянием. Со вздохом повернул он по эспланаде и вышел через Альзское предместье, продолжая движение без определенной цели.

В конце Веринговой улицы была пивная с кегельбаном, владелец которой, канатный мастер, пользовался за свой хороший товар и добрые качества своих напитков большою популярностью среди соседей и местных крестьян, чей путь лежал мимо его заведения.

Слышно было, как грохотали шары, а впрочем все шло помаленьку, и число посетителей не превышало десятка.

Потребность, почти бессознательная, немного позабыться среди простых непритязательных людей заставила композитора свернуть сюда.

Он занял место за одним из столов, в скудной тени деревьев, где уже сидел водопроводный мастер из Вены и двое мещан; спросил кружку пива и, расхаживая вокруг, то принимал участие в их весьма житейского свойства беседе, то посматривал, как играют на кегельбане.

Неподалеку от последнего, рядом с домом, помещалась под навесом тесная лавка канатчика, набитая товаром, ибо, помимо собственных, вокруг стояли и были развешаны всевозможные изделия, которыми он торговал, для кухни, погреба, сельского хозяйства, а также деготь и колесная мазь, кое-какие семена, укроп и тмин. Девушка, в качестве кельнерши прислуживавшая гостям, одновременно отпускала и в лавке, и в данный момент как раз занималась этим делом с одним крестьянином, который, держа своего сынишку за руку, подошел, чтобы кое-что купить, а именно: меру для фруктов, щетку и кнут. Он порылся в куче и вытащил один, попробовал, отложил

в сторону, взял другой, потом третий и снова нерешительно обратился к первому. Этому не предвиделось конца. Девушка отлучалась несколько раз для услуг за столиками, опять возвращалась и была неумоима, стараясь без лишней болтовни угодить ему и облегчить выбор.

Моцарт, усевшись на скамеечке возле кегельбана, слушал и смотрел на все это с удовольствием. Ему нравилось хорошее, толковое поведение девушки, спокойствие и серьезность ее приятного лица, но еще сильнее занимал его в данную минуту крестьянин, доставивший ему большую пищу для размышлений после того, как тот ушел, совершенно удовлетворенный. Маэстро вообразил себя на месте этого человека, прочувствовал, как серьезно отнесся он к такому пустяку, как добросовестно и с какой опаской взвешивал так и сяк разницу в цене, составлявшую всего несколько крейцеров. „И вот,—думал маэстро,—теперь муж вернется домой к жене, примется расхваливать свою покупку, дети не будут спускать глаз с развертываемого мешка — там ведь найдется кое-что и для них; а она поспешит с закуской и угостит его прохладным яблочным сидром собственного приготовления, для чего он и приберегал весь свой аппетит!

„Вот кто счастлив, кто независим от людей! Всецело полагаться лишь на природу и ее благоволение, — с каким бы трудом это ни доставалось!

„Но мне мое искусство предписывает иного сорта повседневный труд, которым я не поменялся бы ни с кем в мире. Почему же должен я жить в условиях, которые — лишь слабый намек на это невинное, простое существование? Будь свой уголок, маленький домик в деревне, в красивой местности, можно бы зажить по-новому! Все утро прилежно работать над своими партитурами, все остальное время проводить с семьей, сажать деревья, навещать свое поле, осенью снимать вместе с мальчиками груши и яблоки с деревьев; время от времени поездка в город на какую-нибудь постановку, иногда принять одного или нескольких друзей у себя, — какое блаженство! Ну, да кто знает, что еще впереди!“

Он подошел к лавке, приветливо заговорил с девушкой и принялся подробно разглядывать ее товар. При непосредственном отношении большинства этих вещей к его идиллическим размышлениям его привлекала чистота, белизна, гладкость деревянных изделий и даже самый запах некоторых из них. Ему вдруг пришло

в голову выбрать для жены разные разности, которые, по его мнению, были бы ей полезны и приятны. Его внимание обратилось прежде всего к садовым инструментам. Дело в том, что Констанция заарендовала как-то, по его настоянию, участок земли у Кернтнеровых ворот и посадила немного овощей. Поэтому ему показалось, что теперь кстати будут новые большие грабли, такие же поменьше и лопата. Потом, добравшись до остального, он, после некоторого раздумья, — что делает честь его чувству бережливости, — отказался, хотя и неохотно, от очень улыбавшейся ему аппетитной масленки, зато очень пришелся ему по вкусу высокий сосуд с крепкой и красивой резной ручкой для неопределенного употребления. Он состоял из узких чередующихся палочек темного и светлого дерева, книзу расширялся, а внутри был засмолен. Положительно необходимы оказались для кухни прекрасный набор чумичек, скалок, досок для крошки мяса, тарелок всевозможных величин, а также висячая солонка простейшего устройства.

Наконец он высмотрел себе еще крепкую палку с ручкой, основательно обитой кожей и круглыми медными гвоздями. Так как для

странного покупателя и это являлось повидимому некоторым соблазном, то продавщица, улыбаясь, заметила, что ведь палка не годится для господина.

— Ты права, дитя мое, — ответил он, — пожалуй что только мясники берут такую с собой в дорогу. Ну ее, не надо! А остальное все, что мы тут отобрали, сегодня или завтра ты снесешь ко мне домой.

Тут он назвал свое имя и улицу и вернулся допивать пиво к своему столику, у которого из трех посетителей остался только один — жестяник.

— Везет сегодня кельнерше! — сказал он. — По бацену с гульдена выдает ей двоюродный брат за проданный товар.

Моцарт теперь вдвойне радовался своей покупке. Но его участию в судьбе этой девушки суждено было еще более проявиться, ибо, когда она опять подошла, посетитель спросил ее:

— Как дела, Крешенция? Что слесарь? Когда ж свое-то железо ковать начнет?

— Какое там, — ответила она мимоходом, — свое железо! Свое железо еще в горе под землей.

— Святая простота! — сказал про нее жестяник. — Уж хозяйничала, хозяйничала она у своего

вотчима и ухаживала-то за ним во время болезни, а когда помер, вышло, что пустил он ее добро по ветру. С тех пор вот и служит у брата; на ней всё: и дело, и хозяйство, и ребятишки. Свела знакомство с одним бравым парнем и замуж давно не прочь; да есть тут одна загвоздка...

— В чем? Что и у него ни гроша?

— Они и скопили кой-что, да все мало. Выходит им теперь случай купить с торгов часть дома вместе с мастерской. Канатчику-то ничего нет легче ссудить их деньгами, сколько там нехватает, да только ему, само собой, не охота отпускать девку-то. У него везде приятели: и в ратуше и в цехе — вот и канителят парня, где можно...

— Проклятье! — воскликнул Моцарт так горячо, что его собеседник испуганно оглянулся, не слышали ли другие. — И нет никого, кто бы ввязался в это дело? Показал хороший кулак этим господам? Вот подлецы! Дождетесь, возьмут вас за шиворот!

Жестяник сидел словно на углях. Неуклюже попытался он смягчить сказанное, почти брал свои слова назад. Но Моцарт его не слушал.

— Как вам не стыдно за эту болтовню... Так вы всегда, бездельники, коль скоро коннешься вопроса о помощи! — И он, не прощаясь, повернулся к нему спиной и ушел.

У кельнерши были полны руки дела с новыми гостями, так что он только шепнул ей на ходу:

— Приди завтра пораньше, поклон жениху! Ваше дело, надеюсь, уладится.

От изумления она так и не успела прийти в себя, чтобы поблагодарить его.

Быстрее обычного, несколько взволнованный этим приключением, двинулся он сначала той же дорогой до Гласиса, к которому направился уже не спеша и сделав большой крюк вдоль вала. Всецело поглощенный делами влюбленной пары, он мысленно перебирал своих знакомых и покровителей, которые могли бы так или иначе ему в данном случае помочь. Но, прежде чем предпринимать какие-либо шаги, требовалось разузнать всё поподробнее от самой девушки, поэтому он решил спокойно дожидаться ее прихода, и теперь, поспешно шагая к дому, мысленно он уже был с женой.

С глубокой уверенностью рассчитывал он на ласковую, даже радостную встречу, с поцелуями и объятиями уже на пороге; при мысли об этом

он ускорил шаг, входя в Кернтнеровские ворота. Тут окликнул его почтальон, передавая маленький, но тяжеловесный пакет, на котором он тотчас же узнал, по прямому и аккуратному почерку, знакомую руку. Он заходит с письмомосцем в знакомую лавку, чтобы расписаться. У него уже нехватает терпения, очутившись на улице, подождать до дома. Он срывает печать и на ходу, приостановившись, проглатывает письмо.

— Я, — продолжала дамам свой рассказ госпожа Моцарт, — сидела у рабочего столика, слышала, как поднимался мой муж по лестнице и спросил обо мне у прислуги. Его шаги и голос показались мне увереннее и веселее, чем я ожидала и чем, по правде говоря, мне этого хотелось. Он прошел в свою комнату, но тотчас же вернулся ко мне. „Добрый вечер!“ — сказал он. Я ответила вполголоса, не поднимая глаз. Пройдясь несколько раз по комнате, словно измеряя ее длину, он с притворным зевком взял за дверью хлопашку от мух, чего с ним никогда не случалось, и, пробурчав про себя: „И откуда это столько мух!“ — принялся во всю мочь хлопать там и сям. Обычно это было для него самым нестерпимым звуком, производить

который никогда не разрешалось в его присутствии. Гм, — подумала я, — однако то, что делаешь сам, а как муж в особенности, совсем иное дело! Между прочим мне казалось, что вовсе уж и не так много было мух. И его странное поведение очень раздосадовало меня. „Шестерых одним ударом! — воскликнул он. — Хочешь взглянуть?“ Никакого ответа. Тогда он положил мне что-то на рабочий столик так, что я должна была это увидеть, не отводя глаз от своей работы. Это что-то оказалось ни больше ни меньше как стопкой золота: столько дукатов, сколько можно захватить двумя пальцами. Он продолжал за моей спиной свои дурачества, хлопая время от времени и приговаривая себе под нос: „Бесплезное, бесстыжее племя! Для чего оно только существует?“ Хлоп!.. „Очевидно лишь для того, чтобы его убивать“. Хлоп!.. „В этом я кое-что понимаю, смею уверить... Естественная история говорит о том, с какою поразительною быстротой размножается эта тварь“... Хлоп! хлоп!.. „В моем доме их тотчас же приводят к знаменателю... Ah, *maladette!* *disperate*⁸⁶! Опять штук двадцать! Хочешь?“ Он подошел ко мне и продолжал то же самое. Если я до сих пор лишь с трудом удерживалась, чтобы не расхо-

хотаться, то дольше это становилось невозможным. Я прыснула со смеху, он бросился мне на шею, и мы принялись взапуски хохотать и смеяться.

„— Но откуда же у тебя деньги? — спрашиваю я, в то время как он из свертка высыпал остальные.

„— От князя Эстергази ³⁷! Через Гайдна ³⁸! Ты только прочти письмо.

„Я прочла:

«Эйзенштадт и т. д.

«Дражайший друг!

«Его светлость, мой милостивый покровитель, удостоил меня, к величайшему моему удовольствию, поручением переслать вам прилагаемые при сем шестьдесят дукатов. Мы наконец-таки опять исполняем ваши квартеты, и его светлость был в такой мере ими пленен и доволен, в какой это едва ли было при первом их исполнении три месяца тому назад. Князь заметил мне (я должен это передать дословно): «Когда Моцарт посвятил вам эту свою работу, он думал почтить только вас, но я не ошибусь, если скажу, что это

радует и меня. Передайте ему, что я о его гении почти таких же высоких взглядов, как вы сами, а большего не может он желать во веки веков!» — Аминь! — добавил я. Вы довольны?

«Postscriptum, милой вашей жене на ушко: будьте добры, озаботьтесь, чтобы благодарность не замедлила. Лучше всего, если б была выражена лично. Следует дорожить таким вниманием».

„— Ангел, а не человек! Святая душа! — восклицал без конца Моцарт. И трудно было сказать, чему он радовался больше: письму, одобрению князя или деньгам. Что касается меня, то, откровенно говоря, последнее пришлось мне как нельзя более кстати. И мы весело провели еще один весьма приятный вечер.

„Об истории в форштате я в тот день ничего не узнала, не узнала и в следующие. Прошла целая неделя. Никакой Крешенции не появлялось, и мой супруг, кипевший за массой дел словно в водовороте, скоро обо всем позабыл. Как-то в одну из суббот у нас были гости: майор Вессельт, граф Гардегг и другие музицировали. В перерыве меня вызывают. Вот был

сюрприз! Я возвращаюсь и спрашиваю: «Ты заказывал в Альзском предместьи разные деревянные изделия?»—«Ах, чорт! Конечно. Там пришла девушка? Впусти ее поскорей!» Так она и вошла в комнату, с полной корзиной, с лопатой и граблями в руках, очень приветливо извинилась, что долго не приходила: она позабыла название улицы и лишь сегодня добилась толку. Моцарт брал от нее одну за другой вещи тотчас же с чувством удовлетворения передавая их мне. Я принимала все с сердечной благодарностью и расхваливала их во-всю. Меня только удивило, зачем он купил садовые инструменты. — «Понятно, для твоего участка под городом». — «Создатель! Да ведь мы же давно его отдали; вода причиняла нам столько вреда, и вообще из этого ничего не выходило. Я же тебе говорила, ты ничего не имел против». — «Как? Значит, спаржа, которую мы ели этой весной...» — «Всегда покупалась на рынке». — «Ну, вот, — сказал он, — если бы я это знал! Я ведь тебе ее так расхваливал только из любезности, мне прямо жаль было тебя с твоим садоводством. Эти штучки были с куриный нос!»

„Гостей эта комическая история чрезвычайно позабавила, и я тут же должна была подарить

некоторым на память лишние вещи. Когда Моцарт стал расспрашивать девушку, как обстоит дело с ее замужеством, и, ободряя, просил совершенно не стесняться, так как то, что сделают для нее и ее жениха, будет устроено без шума, тихо и осторожно, — она рассказала все с такою скромностью, основательностью и снисходительностью, что совершенно покорила всех присутствующих, и ее в конце концов отпустили с самыми наилучшими обещаниями.

„— Этим людям необходимо помочь! — сказал майор. Прodelки цеха — сущие пустяки; я знаю человека, который наведет там порядок. Дело не в этом, а во взносе за дом, расходах на устройство и тому подобном. Что, если бы мы дали публичный концерт в Траттнеровском зале со входной платой *ad libitum*³⁹?

„Эта мысль встретила живейший отклик. Один из гостей взял солонку и заявил:

„— Кто-нибудь должен сделать хорошее историческое введение, описать покупку господина Моцарта, объяснив его человеколюбивое намерение. В качестве же кружки для сбора пожертвований поставим на стол эту чудесную посудину, а с обеих сторон, в виде украшения положим крест-накрест грабли.

„Этого, правда, сделано не было, но самый концерт состоялся и дал порядочный сбор. Затем были еще разные взносы, так что у осчастливленной пары оказался даже излишек, а все остальные препятствия были в скором времени устранены. Семья Душек⁴⁰, наши ближайшие друзья в Праге, у которых мы всегда останавливаемся, узнала об этой истории. И жена очень милая сердечная женщина, пожелала, курьеза ради, тоже получить что-либо из этих вещей; поэтому я отложила для нее все наиболее подходящее и, пользуясь случаем, взяла теперь с собой. Так как мы тем временем неожиданно обрели нового собрата по искусству, милую Евгению, и близок час, когда ей придется устраиваться у собственного очага, то она, вероятно, не захочет отвергнуть одной из этих безделок домашнего обихода, отобранных Моцартом. Я поделюсь моим собранием, и вы можете выбирать между этой очаровательной резной мутовкой для варки шоколада и более обдуманной солонкой, на которой с таким вкусом художник щедрой рукой изобразил целый тюльпан. Я безусловно посоветовала бы взять ее: благородная соль, насколько я знаю, является символом домовитости и гостеприимства,

к чему присоединяем и мы свои наилучшие пожелания“.

Так закончила свой рассказ госпожа Моцарт. Легко себе представить, как весело и благодарно было все выслушано и принято дамами. Ликование возобновилось, когда вслед за тем наверху у мужчин разложили вещи и образец патриархальной простоты был вручен по всей форме, причем дядя предсказал ему место среди фамильного серебра его новой обладательницы и ее отдаленнейших потомков, никак не менее почетное, чем занимает произведение знаменитого флорентийца в Амвросианской коллекции.

Было около восьми часов; подали чай. Но вскоре нашему маэстро стали настойчиво напоминать о данном еще за обедом согласии поближе познакомиться присутствующих с героем „адского пожара“, каковой оказался хотя и под замком, но, к счастью, недалеко—в дорожном чемодане. Моцарт немедленно согласился. Изложение содержания заняло немного времени, партитура была раскрыта, и свечи уже горели у клавира.

Нам бы хотелось, чтоб читатель, хоть отдаленно, пережил то своеобразное чувство, что пронзает нас подобно электрическому току и

приковывает на месте, когда до нашего слуха доносится из открытого окна аккорд и знаешь, что он может долететь лишь оттуда, то чувство сладкой жути, охватывающей, когда сидишь в театре перед спущенным занавесом, в то время как настраивается оркестр. Разве это не так? Если в преддверии всякого высокого трагического создания искусства, будет ли это „Макбет“, „Эдип“ или что другое, витает трепет извечной красоты, то где же можно это ощутить в высшей или хотя бы в той же мере если не здесь? Человек желает и страшится одновременно быть вознесенным над своим обычным „я“; он чувствует, что бесконечное, касаясь его, сжимая его грудь, расширяет и с могучей силой влечет к себе его дух. К этому присоединяется благоговение перед совершенством искусства. Сознание, что ты наслаждаешься божественным чудом, смеешь, можешь его воспринять как нечто родственное, влечет за собою род умиления, даже гордости, самой чистой и прекрасной, быть может, к какой мы способны.

Но для данного общества условия бесконечно отличались от наших тем, что ему впервые предстояло услышать одно из творений, с которыми мы

сроднились с юных лет и, — за исключением завидного счастья слышать вещь в непосредственной передаче ее творца, — которые являлись далеко не столь благоприятными, как для нас, ибо чистое и полное восприятие, в сущности, не было ни для кого возможным, а во многих отношениях и не могло им быть, если бы даже вещь игралась полностью.

Из восемнадцати совершенно законченных номеров* композитор не дал, вероятно, и половины (в сообщении, положенном в основу нашего рассказа, определенно говорится только о последней вещи этого ряда — секстете). Исполнялась опера им, повидимому, в собственном свободном переложении для клавира, и местами, там, где было нужно, он пел. Относительно же Констанции сказано лишь, что она исполняла две арии. Так как она обладала столь же сильным, сколь и приятным голосом, то можно предположить, что первая из них была арией донны Анны („Ты знаешь изменника“), вторая же — одна из двух арий Церлины.

* Производя этот подсчет, необходимо помнить, что ария Эльвиры с речитативом и лепорелловское „Я понял это“ первоначально не входили в оперу.

Строго говоря, по духу, взглядам и вкусам, Евгения и ее жених были теми единственными слушателями, каких мог бы пожелать маэстро, и она, конечно, в несравненно большей степени, нежели он. Оба они сидели в самой глубине комнаты. Девушка, неподвижная как статуя и до такой степени ушедшая в звуки, что даже в моменты кратких перерывов, когда все остальные скромно выражали свое сочувствие, либо в возгласах восхищения непроизвольно прорывалось внутреннее волнение, — она могла лишь невпопад отвечать на обращенные к ней слова жениха.

После того как Моцарт сыграл свой необычайно прекрасный секстет и мало-по-малу завязался разговор, он, повидимому, с интересом и благосклонностью прислушивался преимущественно к отдельным замечаниям барона. Зашла речь о финале оперы, а также о предполагаемой в конце ноября постановке и, когда кто-то выразил мнение, что некоторая часть финала еще потребует гигантской работы, то маэстро сдержанно улыбнулся. Констанция же сказала графине так, что он это слышал:

— У него есть что-то *in petto*⁴¹, что он держит в секрете даже от меня.

— Ты выходишь из своей роли, сердце мое, — возразил он, — принимаясь сейчас за этот разговор. Что, если бы мне пришло желание начать сызнова? Меня и в самом деле разбирает зуд.

— Лепорелло! — воскликнул граф, весело вскакивая, и подал знал слуге: — вина! Селлери три бутылки!

— Ну, нет! Довольно: больше не пью.

— На здоровье вам — и каждому свое!

— Боже, что я наделала! — жалобно сказала Констанция, взглянув на часы. — Уже одиннадцать, а завтра рано ехать. Как это будет?

— Этого и не будет, дорогая наша гостья, этого так-таки совсем не будет!

— Иной раз, — начал Моцарт, — бывают странные совпадения. Что скажет моя благоверная, если узнает, что именно в этот же ночной час, и даже накануне назначенного отъезда, появилась на свет та вещь, которую ей предстоит сию минуту услышать?

— Не может быть? Когда? Наверно три недели тому назад, когда ты собирался в Эйзенштадт?

— Правильно! И это произошло вот как. Вернувшись домой с ужина у Рихтеров в одиннадцатом часу, — ты уже крепко спала, — я соби-

рался, согласно обещанию, скорее^е лечь, чтобы завтра поспеть к отъезду кареты. Тем временем Фейт зажег, по обыкновению, свечи на письменном столе. Я машинально надел шлафрок, и мне пришло в голову еще раз пробежать свое последнее задание. Но неудача! Проклятая, не во-время женская деловитость! Ты всё убрала и запаковала ноты. Их надо было взять с собой, так как князь желал попробовать эту вещь. Я искал, ворчал, ругался— все напрасно. В это время мой взгляд падает на запечатанный конверт: от аббата, судя по ужасным каракулям на адресе— так и есть! И посылает мне переработанный конец своего текста, на получение чего я мог надеяться не раньше конца месяца. Я тотчас же с нетерпением усаживаюсь и читаю и восторгаюсь тем, как отлично понял этот старый сыч, чего я хочу. Все было гораздо проще, более сжато и богаче в то же время. Очень много выиграли во всех отношениях как сцена на кладбище, так и финал, до гибели героя. „Но и ты, почтенный поэт,—подумал я,—дважды закливший небеса и ад, не должен остаться без награды!“ Вообще говоря, не в моих привычках предвосхищать что-либо в композиции, как бы ни было это заманчиво. Это —

непослушание, которое может быть жестоко наказано. Но всё же бывают исключения, и вот одно из них: сцена у конной статуи командора, из гроба убитого звучащая и внезапно прерывающая смех ночного гуляки угроза, от которой волосы становятся дыбом, — почти осенила меня. Я взял аккорд и почувствовал, что постучал как раз в нужную дверь, где друг возле дружки притаился уже целый легион тех ужасов, который придется спустить в финале. Так получилось сперва *adagio d-moll*, только в четыре такта, потом вторая фраза из пяти. В театре, рисовалось мне, это будет нечто необычайное, когда самые сильные духовые инструменты сопровождают голос. Покуда послушайте-ка в этой передаче!

Без дальних размышлений погасил он свечи в стоявших возле него канделябрах, и жуткий хорал „Пред утренней зарею окончится твой смех“ — прозвучал в мертвой тишине комнаты. Словно из дальних звездных краев падают в голубую ночь звуки серебряных труб, пронизывая до мозга костей леденящим холодом. „Кто здесь? Отвечай!“ — слышится вопрос Дон-Жуана. И снова, однотонно, как раньше, звучит повеление преступнику оставить мертвых в покое.

После того как стихли последние отголоски этих грозных звуков, Моцарт продолжал:

— Понятно, что теперь я уже не мог остановиться. Довольно льду дать трещину у берега, как по всему озеру, до самых крайних уголков, пойдут треск и звон. Я невольно свернул на протоптанную тропинку, т. е. к той же теме во время ночного пира у Дон-Жуана, когда донна Эльвира только что удалилась и в ответ на вызов является привидение. Вот послушайте!

Следовал тот длинный, полный ужаса диалог, уносящий даже самого трезво настроенного за грани и пределы человеческих представлений, когда мы как бы воочию видим и слышим поступь надмирного и ощущаем безвольное метание нашей души от бвѣтия к сверхсознанию.

Бессмертный дух, уже отвыкший от человеческой речи, пытается еще раз заговорить. С какой своеобразной жутью звучит его голос, растерянно блуждающий то вверх, то вниз по ступеням воздушной лестницы, тотчас же после первого страшного приветствия, когда полувоскресший отказывается от предложенной ему земной пищи! Он торопит, требуя немедленного раскаяния: духу скупно отпущено время,—далек,

далек, далек его путь... И когда Дон-Жуан, с чудовищным упорством восставая против извечного миродержавного порядка, сопротивляется и хитрит, тщетно борясь с растущим натиском адских сил, и наконец погибает, все еще сохраняя величие в каждом движении, — чье сердце не трепещет тогда от ужаса и наслаждения? Это чувство подобно тому, когда присутствуешь при великолепном зрелище буйства стихийных сил — пожаре огромного корабля. Против воли становишься на сторону этой слепой стихии, со скрежетом зубовным разделяя скорбь ее стремительного уничтожения.

Композитор кончил. Некоторое время никто не отваживался первым прервать молчание.

— Дайте нам, — сказала наконец графиня, все еще задыхаясь, — дайте, прошу вас, нам представление о том, что чувствовали вы в ту ночь, отложив перо!

Он взглянул на нее ясным взором, точно пробужденный от тихого сна, быстро подумал и сказал, обращаясь частью к графине, а частью к жене:

— Ну, конечно, у меня к концу действительно кружилась голова. С жаром дописал я, сидя у открытого окна, это отчаянное *dibatti-*

mento ⁴², вплоть до хора духов, и, передохнув, поднялся со стула, намереваясь пройти к тебе в кабинет, чтобы немножко поболтать с тобой и дать улечься волнению. И вдруг нелепая мысль обожгла меня, принудив остановиться посреди комнаты. (Тут на несколько мгновений он опустил глаза, и в тоне его голоса слышалась при дальнейших словах едва заметная дрожь.) Я сказал себе: если пришлось бы тебе умереть сегодня же ночью и оборвать на этом месте партитуру, улежал ли бы ты спокойно в гробу? Мой взгляд был прикован к фитилю свечи и к груди наплывшего воска. Мгновенная боль пронзила меня при этой мысли. Затем я подумал: что, если после меня кто-нибудь другой, быть может какойнибудь итальянец, рано или поздно заполучит оперу, чтобы ее кончить, и найдет, начиная с интродукции и до восемнадцатого номера все, кроме одной вещи, подготовленным и переписанным набело; все исключительно крепкие, спелые плоды, упавшие в высокую траву, где остается их только подобрать? Его немного пугает разве лишь вторая половина финала, но и тут он неожиданно находит, что камень преткновения сдвинут уже в сторону. Он не без удовольствия похихикал бы

в свой кулачок! Возможно, попытался бы обманом отнять эту честь у меня. Но очень бы скоро обжегся: все же нашлась бы горсточка добрых друзей, знающих мою манеру и честно бы отстаивших то, что мне принадлежит. Тут я сдвинулся с места и, обратив взор, полный признательности, к богу, поблагодарил, милая же-нушка, твоего ангела-хранителя, руки которого все время тихо покоились на твоём челе, потому что ты спала как сурок и ни разу не могла меня окликнуть. Но, когда я в конце концов вошел и ты спросила, который час, я живо сделал тебя моложе на несколько часов, чем ты была; ибо дело подходило к четырем! Понимаешь теперь, почему не удалось тебе поднять меня в шесть часов с перины, почему пришлось вернуть лошадей обратно, наказав кучеру приехать на следующий день.

— Ясно! — ответила Констанция. — Пусть только мой хитрый муж не воображает, что я была настолько глупа, чтобы ничего не заметить. Из-за этого не стоило, право, тебе скрывать свой прекрасный финал.

— Да это было и не потому.

— Да уж знаю: ты боялся, как бы не сглазили твое сокровище.

— Меня радует только одно, — воскликнул добродушный хозяин, — что завтра утром нам не придется искушать благородного сердца венского кучера, если господин Моцарт *par tout*⁴³ не сможет встать. Приказ „Ганс, распрягай!“ всегда очень огорчает.

Этот намек побыть еще, остаться, к чему присоединили свои голоса с самыми сердечными уговорами и все остальные, подал отъезжающим повод привести очень основательные возражения; но в конце концов охотно помирились на том, что отъезд не будет очень ранним и даст возможность всем вместе приятно позавтракать.

Гости долго еще не расходились, разбившись на группы, стоя и болтая друг с другом. Моцарт оглянулся, ища кого-то, повидимому невесту; но так как ее не оказалось, то он просто душно обратился с предназначавшимся ей вопросом непосредственно к стоявшей рядом Франциске:

— Что же вы в общем думаете о нашем „Don Giovanni“? Что вы ему пророчите хорошего?

— Я, — сказала она, смеясь, — отвечу, как смогу, вместо моей кухни. Мое бесхитрое мнение таково: если „Don Giovanni“ не сведет

всех с ума, то господь бог совсем захлопнет свою музыкальную шкатулку — что называется на неопределенное время — и даст человечеству понять...

— И даст человечеству, — поправил, перебивая, дядя, — волынку в руки и так ожесточит сердца людей, что они станут поклоняться Ваалу.

— Боже сохрани! — засмеялся Моцарт. — Пожалуй, в течение ближайших 60-70 лет, когда меня давно не будет, появится не один лжепророк.

Подошла Евгения с бароном и Максом. Беседа незаметно приняла новый оборот, стала серьезной и значительной, так что композитор, прежде чем расстаться с обществом, был обрадован еще несколькими прекрасными по своей выразительности отзывами, весьма его обнадеживавшими.

Расстались лишь далеко за полночь. Только тогда каждый почувствовал, как ему необходим покой.

На другой день (погода ни в чем не уступала вчерашней), около десяти часов, во дворе замка стояла красивая дорожная карета с уложенными в ней вещами венских гостей. Граф подошел к ней вместе с Моцартом и, незадолго

до того, как стали выводить лошадей, спросил, нравится ли она ему.

— Очень. Она кажется чрезвычайно удобной.

— Отлично. В таком случае сделайте мне удовольствие, примите ее от меня на память.

— Как? Это серьезно?

— А как же иначе?

— Пресвятые Сикст и Калликст! Констанция! Констанция! — крикнул он наверх, в окно, откуда выглядывала она вместе с другими: — Эта карета наша! Отныне ты будешь ездить в собственном экипаже!

Он обнял улыбавшегося графа, осмотрел и обошел свою новую собственность со всех сторон, открыл дверцу, бросился на сиденье и воскликнул оттуда:

— Теперь, по моему мнению, я столь же знатен и богат, как кавалер Глук ⁴⁴! Что только станет с глазами венцев?!

— Я надеюсь, — сказала графиня, — снова увидеть вашу карету на обратном пути из Праги и притом сверху донизу увешанною венками.

Вскоре после этой последней веселой сцены столь расхваленный экипаж с отъезжающей четой действительно тронулся и быстрой рысью выехал на проезжую дорогу. Граф велел его

довезти до Виттингау, где должны были взять почтовых лошадей.

*

Когда превосходные, милые люди мимоходом, благодаря своему присутствию, оживляют, освежают наш дом, быстро поднимают, изменяя, наше настроение и дают нам во всей полноте ощутить счастье гостеприимства, тогда их отъезд всегда оставляет после себя неприятную пустоту, по крайней мере в течение всего остального дня, когда мы снова оказываемся предоставленными самим себе.

У наших обитателей зámка хоть последнее не имело места. Правда, вскоре уехали родители Франциски вместе со старой тетушкой; но сама подруга и жених, не считая Макса, еще оставались. Речь идет главным образом об Евгении, которую это бесценное переживание захватило глубже, чем остальных. Ее, надо думать, ничем нельзя было омрачить, чего-либо лишиться, ей не могло чего-либо нехватать. Ее чистое счастье с искренно любимым человеком, только что получившее официальное признание, должно было поглотить все остальное. Более того, все благородное и прекрасное, что могло волновать ее душу, должно было неиз-

бежно слиться воедино с этой божественной полнотой.

Так бы оно и случилось, если бы вчера и сегодня она могла жить одним настоящим, а сейчас лишь мысленно переживать все удовольствие вновь. Но уже вечером, во время рассказа жены, она была втайне охвачена смутно подкравшимся страхом за того, чьим пленительным образом она восхищалась. Это предчувствие все время, пока Моцарт играл, за всем несказанным очарованием, сквозь весь таинственный ужас музыки, росло в глубине ее сознания, и наконец ее поразило, потрясло то, что он сам рассказал о себе в этом отношении. Ей было ясно, так ясно, что этого человека быстро и неудержимо пожирает его собственное пламя, что он — лишь мимолетное явление на земле, ибо она поистине не вынесла бы расточаемого им изобилия.

Это, наряду со многим другим, волновало ее, когда она вчера легла, — и в ней еще долго звучали отголоски „Дон-Жуана“. Лишь к утру она, утомившись, заснула.

Все три дамы сидели в саду за работой, в обществе мужчин, и, так как разговор, естественно, ближайшим образом касался лишь

Моцарта, то Евгения не стала замалчивать своих опасений. Никто не разделял их ни в малейшей степени, хотя барон вполне ее понимал. В хорошую минуту высокочеловечного, чистого, благодарного настроения всеми силами стараются отогнать всякую мысль о несчастьи, если оно никому непосредственно не грозит. Были представлены самые красноречивые, самые веселые доводы, утверждавшие обратное, особенно дядей, и как охотно Евгения прислушивалась к ним! Еще немного — и она сама готова была поверить что видела все в слишком мрачном свете.

Спустя несколько мгновений, она проходила большой комнатой наверху, только что убранной и вновь приведенной в порядок. Спущенные гардины окон из зеленого дамасского шелка пропускали лишь слабый сумеречный свет, и она грустно остановилась перед клавиром. Когда она подумала, кто всего несколько часов тому назад сидел за ним, все бывшее показалось ей сном. Долго смотрела она, задумавшись, на клавиши, которых он коснулся последним. Потом осторожно опустила крышку и вынула ключ в ревнивой заботе о том, чтобы ничья рука не дотронулась вскоре до них. Уходя, она мимоходом поставила на место несколько нотных

тетрадей с песнями: из одной выпал старенький листок — список народной чешской песенки, которую когда-то певала Франциска, да и она сама. Она подняла его не без волнения. В таком настроении, какое у нее было, самая простая случайность легко становится предвещанием; но, как бы это ни понимать, содержание было таково, что из глаз ее брызнули горячие слезы в тот момент, когда она перечитывала бесхитростные строки:

Где зеленеет елочка,
Скажи, в лесу?
А розы куст
В каком саду?
Уж суждено, —
Душа, подумай! —
Им на твоей цвести
Могиле.

Две черные лошадки
Пасутся на лугу,
И весело так в город
Они несутся вскачь.
С твоим же прахом
Они пойдут тихонько.
Но, может, еще раньше
На их копытцах
Не будет и железа,
Что блеснит, вижу.

Примечания.

¹ М ö р и к е, Эдуард. Кроме самих общих сведений в новом энциклопедическом словаре Брокгауза-Эфрона и во всеобщих историях литературы (вроде И. Шерра), никаких книг или статей на русском языке об этом поэте, насколько нам известно, не существует.

² М о ц а р т, Вольфганг-Амадей (р. 27 янв. 1756, ск. 5 дек. 1791). О Моцарте можно прочесть книги: А. Д. Улыбышева „Новая биография Моцарта“, пер. под ред. Г. А. Лароша, I—III, М., 1890—92; В. Д. Корганова „Моцарт“, изд. М. О. Вольф, Спб., 1900; статьи О. Флейшер „В. Моцарт“ в „Русск. Муз. Газ.“ 1912—13; И. Прауте „Моцарт“, Гос. Изд. 1923 (здесь подробно указана литература на русском и иностранном языках).

³ М о ц а р т, Констанция, рожденная Вебер, из театральной семьи, тетка немецкого композитора Карла-Марию Вебера, певица. От Моцарта у нее было двое сыновей. Через 18 лет после смерти его вышла вторично замуж за Ниссена, одного из первых биографов Моцарта.

⁴ „Д о н - Ж у а н“ — опера Моцарта, текст аббата да-Понте на сюжет, заимствованный у испанца Тирсо де-

Молина (драма „El convidado de piedra“). Полное название оперы „Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni“ („Наказанный развратник или Дон-Жуан“). Впервые поставлена в Праге 4 ноября 1787 г. Прекрасный пересказ оперы см. в III т. книги А. Д. Улыбышева „Новая биография Моцарта“.

⁵ Una fizione di poeti—в воображении поэтов.

⁶ Пратер—парк в Вене, вдоль берега Дуная.

⁷ Sapperlot—чорт возьми.

⁸ En passant—случайно, мимоходом.

⁹ Чембалист—играющий на чембало — по итальянской номенклатуре, или клавицимбале (т. е. цимбале с клавишами), единственном до середины XVIII века сольном клавирном инструменте. См. по этому поводу статью Е. Браудо „Клавихорд и клавесин“ в „Музык. Современнике“ 1916, № 6, стр. 29 слд.

¹⁰ Per magca—в качестве знака, доказательства.

¹¹ „Бельмонт и Констанция“—опера Моцарта; другое ее название—„Похищение из сераля“. Поставлена впервые в 1782 г.

¹² „Фигаро“, „Свадьба Фигаро“ („Le nozze di Figaro“) — комическая драма в 4 актах, слова аббата да-Понте, музыка Моцарта. Впервые поставлена в Вене 1 мая 1786 г. Провалившись, благодаря интригам, в столице Австрии, опера имела громадный успех у чехов в Праге.

¹³ „Cosa гага“ („Редкостная вещь“) — опера, написанная композитором Виченте Соларом (1754—1810).

¹⁴ Бондини—оперный антрепренер в Праге.

¹⁵ Гансвурст—немецкий петрушка, pulcinello.

¹⁶ „Тарар“ — опера, написанная Сальери в сотрудничестве с Бомарше, автором известной трилогии

(„Севильский цырюльник“ etc.). Впервые поставлена 8 июня 1787 г. в Париже. Опера интересна тем, что текст ее все время менялся: до революции был один, после нее—другой, при Наполеоне—третий. Современная критика ставила ее ниже „Данаид“, другой, прославленной оперы того же Сальери. Подробности см. в книге Louis de Loménic, „Beaumarchais et son temps“, Paris, 1859, t. II, pag. 399 — 421.

¹⁷ Сальери, Антонио (1750 — 1825), композитор, дирижер и теоретик, ученик Гассмана и позже Глука. Написал до 40 опер. Лучшие: „Армида“, „Аксур“, „Данаиды“. Интересно, что под конец своей жизни он, покровительствуя первоначально гениальному Францу Шуберту, внезапно резко порвал с ним.

¹⁸ Голицына, княгиня — жена кн. Дмитрия Михайловича (1721 — 1793), бывшего 30 лет русским послом в Австрии, знатока изящных искусств (в частности сам занимался гравированием), основателя известной в Москве Голицынской больницы. Из биографий Моцарта видно, что композитор часто бывал у него в доме.

¹⁹ Гагедорн, Фридрих (1708 — 1754), поэт.

²⁰ Гетц, Иоганн-Николай (1721 — 1781), поэт, переводчик Анакреона и Сафо.

²¹ *Commedianti, figli di Nettuno* — комедианты, дети Нептуна.

²² *Canzoni a ballo* — песни в ритме танца.

²³ *Quod libet* — сколько угодно, в любом количестве.

²⁴ Мазетто — персонаж из „Дон-Жуана“.

²⁵ Церлина — персонаж из „Дон-Жуана“.

²⁶ С е в и н ь е, госпожа де (1626 — 1696). В историю вошла ее переписка с дочерью, принадлежащая и по форме и по содержанию к числу интереснейших памятников эпохи Людовика XIV и рисующая самую широкую, подробную и яркую картину жизни того времени.

²⁷ Ш а п е л ь, собственно Клод-Эмануэль Люилье (1616 — 1686), законодатель особого лирического стиля, так называемого *poésies fugitives* (летучей поэзии), где самым важным делом почиталось остроумие.

²⁸ Р а м л е р, Карл-Вильгельм (1725 — 1798), поэт; его переводы горацевых од появились в Берлине в 1769 г.

²⁹ Ш и к а н е д е р, Эмануэль. Числился в „друзьях“ Моцарта, отчасти соавтор текста к опере последнего „Волшебная флейта“, основатель театра в Вене, масон, сочинитель народных песен; по существу—легкомысленный аферист.

³⁰ Д а - П о н т е, Лоренцо (р. ок. 1748, ск. в 1838 г.), еврей по происхождению и католический семинарист по воспитанию, аббат, придворный поэт при австрийском дворе, оперный либреттист. Тип авантюриста вроде Казановы, с которым да-Понте был в дружбе. Умер в Нью-Йорке в полнейшей нищете. В 1829 г. в Америке вышли его воспоминания, переведенные не так давно на немецкий язык.

³¹ С о п ф о r z a — с силою.

³² П и р м о н т с к и е воды—минеральные источники в Германии, в княжестве Вальдек. Пользовались большою популярностью еще в середине XIX века.

³³ Ф л о г и с т о н — невидимое, летучее вещество с отрицательным весом, которое по теории химика Сталя (1660 — 1734), господствовавшей целое столетие, содер-

жится во всех телах и выделяется при горении. Опровергнута после открытия кислорода и работ Лавуазье.

³⁴ Ф о р ш т а т — предместье.

³⁵ S o i g é e — вечер.

³⁶ M a l a d e t t e, d i s p e r a t e — проклятые, отчаянные.

³⁷ Эстергази — семья венгерских магнатов, меломанов, у которых в г. Эйзенштадте долгое время служил Гайдн, управляя домашним оркестром. Здесь, вероятно, имеется в виду Николай Эстергази.

³⁸ Г а й д н, Иосиф (1732 — 1809), творец современной симфонии и струнного квартета. К Моцарту он относился с необычайным расположением и считал его величайшим из композиторов.

³⁹ A d l i b i t u m — по желанию.

⁴⁰ „Душки — в этой семье Моцарт жил осенью 1787 г. на даче, в виноградниках Козогрица, под Прагой, где и была закончена партитура „Дон-Жуана“.

⁴¹ I n p e t t o — в груди, в мыслях.

⁴² D i b a t t i m e n t o — потрясение, наведение страха.

⁴³ P a r t o u t — сверх того.

⁴⁴ Г л у к, Кристоф Виллибальд (1714—1787), гениальный композитор, творец современной немецкой оперы, по стопам которого пошел Вагнер. Его главные оперы: „Ифигения в Тавриде“, „Армида“, „Орфей“. С 1780 г. жил безвыездно в Вене. „Кавалер“ — собственно рыцарь, так как Глук был возведен в рыцарское достоинство.

СКЛАД ИЗДАНИЯ:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Р.С.Ф.С.Р
МОСКВА • ЛЕНИНГРАД

ЗФк

67 КОП.